

ГРАНИ

GRANI

150

1988

Verlagsort: Frankfurt/M. Oktober-Dezember

Дорогие читатели!

Стремясь облегчить проникновение нашего журнала в Россию, а также ознакомить вас с лучшими напечатанными в нем произведениями, редакция журнала „Грани“ выпускает карманные сборники избранного из „Граней“.

Эти сборники, размером 9,5 на 14,5 см, отпечатаны на тонкой бумаге и содержат в среднем 512 страниц. Они легко помещаются в кармане или женской сумочке. Каждому путешественнику – советскому ли за рубежом, иностранному ли в России – не трудно взять их с собой.

Мы обращаемся к читателям в России:

- передавайте свой экземпляр дальше, увеличивая тем число читателей;*
- просите друзей, едущих за границу, привезти вам наши сборники;*
- просите своих иностранных знакомых привозить вам их, вместо подарка!*

Мы обращаемся к читателям за рубежом:

- используйте каждую возможность (встречу с соотечественниками, свои или друзей поездки в нашу страну и т. п.), чтобы передать в Россию наши сборники!*

Эти сборники предназначены для России! Каждый, желающий их иметь ДЛЯ РОССИИ, – может получить нужное количество экземпляров, обратившись по адресу:

А. Kandauirow c/o „Possev-Verlag“

Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/Main 80

Уже выпущены следующие сборники „Граней“:

Сборник	№ 1 из	№№ 87/88-94 (разошелся)
Сборник	№ 2 из	№№ 78-86 (разошелся)
Сборник	№ 3 из	№№ 71-77 (разошелся)
Сборник	№ 4 из	№№ 69-70 (разошелся)
Сборник	№ 5 из	№№ 53-68
Сборник	№ 6 из	№№ 49-52
Сборник	№ 7 из	№№ 40-51
Сборник	№ 8 из	№№ 34/35-39



Журнал основан в 1946 году
Основатель журнала Е. Р. Романов

Редактировали:

1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов, Б. В. Серафимов

1947 – 1952 Е. Р. Романов

1952 – 1955 Л. Д. Ржевский

1955 – 1961 Е. Р. Романов

1962 – 1982 Н. Б. Тарасова

1982 – 1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч

1984 – 1986 Г. Н. Владимов

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XLII

№ 150

1988

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Исавичу Солженицыну -
МНОГАЯ ЛЕТА! 5

"Если зовет своих мертвых Россия...
(К семидесятилетию со дня рождения
Александра Галича) 7

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Андрес КОЙТ. Родные и близкие. Рассказ 29

Леонид ГУБАНОВ. Волчьи ягоды. Стихи 48

Сомерсет МОЭМ. Три рассказа. Пер. с англ.
Л. Штерна 54

Виталий ПУХАНОВ. Пошли мне, Боже, истину...
Стихи 103

Ирина МУРАВЬЕВА. Чужая дочка. Рассказ 108

П. МУРАВЬЕВ. Рыболовы. Рассказ 124

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Мария ШНЕЕРСОН. Что может выйти из этого
Шарикова? 136

ИСТОРИЯ

Анна ГЕЙФМАН. Кадеты и революционный террор,
1905-1907 163

ПУБЛИЦИСТИКА

Интеллигенция - опыт осмысления

Юрий МЕЙЕР. О русской дореволюционной
интеллигенции 216

Евгений МАНИН. Если верить пифагорейцам... 226

Александр АНТОНОВИЧ. Каков диаметр колеса истории?	240
Марк ПОПОВСКИЙ. Об одной неизлечимой болезни	247
Юрий ФЕДОРОВ. Русский интеллигент на свободе и в лагере	258

ИСКУССТВО

Александра ОРЛОВА. Судьба артиста	263
Анатолий ДОЛУХАНОВ. Последний сталинский нарком от музыки	282

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Вл. Голицын. Лицо времени (Ю. Трифонов "Время и место")	294
---	-----

ПУБЛИКАЦИИ

А. Смирнов. "Перекройка"	302
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ	307
СОДЕРЖАНИЕ с № 147 по № 150	310

Обложка работы художника Н. Мишаткина

Александр Исаевич Солженицын – МНОГАЯ ЛЕТА!

Исполнилось семьдесят лет нашему замечательному современнику, русскому писателю, Нобелевскому лауреату по литературе – Александру Солженицыну.

На его судьбе отложилась, почитай, вся история нового государства от начала до сегодняшнего дня. Но как?! Не отложилась, а отлилась в высшей пробы приговор этой системе со всеми ее "морозами", "заморозками", "детантами", "застоями" и "перестройками". Недоброй памяти "отец народов" в оттепельные игры не играл, ибо знал, что дом, им построенный, стоит и держится, сверкает и переливается всеми красками под искусственным солнцем его Конституции перед всем миром только, когда он в ледяном состоянии. Терявшие же на время инстинкт самосохранения советские правители иной раз позволяли себе "дворянские" вольности потепления – возвращали еще недавно неугодных, но одни раньше, другие позже спохватывались, что тает их дом, их светлое настоящее и их совсем уж нестерпимо яркое будущее. Спихватились и сейчас.

У Солженицына нет ни одного нейтрального или отдельно стоящего литературного детища, невозможно разделение на тех, что редакторам, и те, что в стол. Все его детища, такие разные, НЕСЛИЯННЫЕ, но ведь и НЕРАЗДЕЛЬНЫЕ! И не выберешь из них "чистую прозу", то есть безболевою игру слов. Не в состоянии

оказались самые благородные попытки честнейших из еще не потерявших настоящие интеллигентские гены российских интеллигентов "протащить" Солженицына под голошение прикоснувшихся к кубку власти "рыцарей перестройки". В этом случае благожелательная полуправда оказалась еще бессильнее прямой лжи.

И вот недавно, считая, видно, что производит не подлежащий больше обжалованию приговор Солженицыну, на самом деле произнес приговор недолгой эпохе перестройки и гласности новый партийный идеолог, сказавший про "Архипелаг ГУЛАГ": "Это прямая, так сказать, позиция открытого противостояния нашему строю, нашему миропониманию. Всему". Именно, *их* пониманию, не нашему с вами, читатель, на родине и за ее пределами. Они снова объявили Солженицына "чужеземцем в своей стране". Сегодня, после всех разоблачений, они знают всё про свою систему, но, видно, живут они, как сказал один из них же: "Откровенье зная Иоанна, жил я по евангелию Фомы". Бог им судья...

Живите долго, Александр Исаевич! Вам еще предстоит ВОЗВРАЩЕНИЕ. Вы своей жизнью, своими книгами уже доказали простую истину: не кончается талант, не кончается боль за свою землю, не кончается литература, не кончается совесть и честь, не кончается ЧЕЛОВЕК на первой же пограничной станции – он только продолжается, если высочайшее звание его – РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ!

Многая лета, многая лета, многая лета!!!

"Грани"

«Если зовет своих мертвых Россия...»

*(К семидесятилетию со дня рождения
Александра Галича)*

В октябре этого года русскому поэту, драматургу, настоящему интеллигенту Александру Галичу исполнилось бы 70 лет. Поверить в это сегодня почти невозможно точно так же, как 11 лет назад невозможно было поверить, что его не стало – настолько нелепа и трагична была эта смерть. К тому дню судьба отпустила ему без малого шесть десятков.

Помянуть Галича сегодня заставляет не только долг памяти к круглой дате его семидесятилетия со дня рождения. Ко дню его трагической смерти всё та же судьба дала ему еще и три года эмиграции. И нет ничего более естественного, что все некрологи Галичу содержали слова о ВОЗВРАЩЕНИИ, выражали нашу неизбывную эмигрантскую надежду на чудо возвращения туда, к СЕБЕ. Именно потому, что таким, как Галич, всегда есть, чем возвратиться – своим СЛОВОМ. И именно сегодня многим, и нам тоже, так хочется верить, что ВОЗВРАЩЕНИЕ началось.

Появились подборки его стихов-песен в расхожих по тиражу журналах с теплыми и не-

крикливыми словами и комментариями составителей этих подборок, состоялись вечера его поэзии и воспоминаний о нем, сделаны молодыми театральными коллективами спектакли из его песен-сцен, поставлена, наконец, и "Матросская тишина" и даже объявлено о создании специальной комиссии по литературному наследию Галича во главе с другим бардом, современником и другом...

Казалось бы, все идет, как надо. Но где-то, в какой-то момент то ли слово было сказано не то, то ли не о том, что было, но уже ощутился перекося или опасность перекося.

Может, в этом восклицательном знаке у Ирины Грековой: "Никуда и никогда он не хотел уезжать!" – знак, скорее, заклинательный. Кого заклинающий, перед кем оправдывающийся? "И все-таки, несмотря ни на что, он оставался преданным своей стране, своему народу, его искусству". Ох уж эти спасительные "страна", "народ" и "народное искусство"!

А может, в этой фразе С. Рассадина: "Сегодня Галичу, наконец являющемуся в печати, как, впрочем, и всем остальным, выпало испытание из самых нешуточных. Гласностью". Кому? Пастернаку, Ахматовой, Гумилеву, Набокову, Некрасову, Бродскому...?! А, ну как не пройдут этого "испытания"? Какой бал нынче проходной перед все теми же "страной" и "народом"? Или перед Союзом писателей, Союзом кинематографистов и Союзом композиторов?

Или, может, от того, что одна подборка названа "Когда я вернусь", а самого стихотворения нет, а в статье Б. Галанова взята из

него одна строфа, щемящая и чистая, но не продолженная – тогда, может и впрямь, возвращение к "стране и народу". Да не совсем так:

Когда я вернусь,
Я пойду в тот единственный дом,
Где с куполом синим не властно соперничать небо,
И ладана запах, как запах приютского хлеба,
Ударит в меня и заплещется в сердце моем –
Когда я вернусь.
О, когда я вернусь!

Когда я вернусь,
Засвистят в феврале соловьи –
Тот старый мотив – тот давнишний, забытый,
запетый.

И я упаду,
Побежденный своею победой,
И ткнусь головою, как в пристань, в колени Твои!
Когда я вернусь.

А когда я вернусь?!..

Или, может, когда абзац из последней, написанной еще дома книги "Генеральная репетиция" назван в журнальной публикации "последней записью на родине", а текст "обнаружен на рабочем столе поэта его братом 24 июня 1974 года", то есть в день отъезда. Вроде бы ничего особенного, а лукавство уже явно чувствуется.

Все эти "может" взяты из действительно прекрасных предисловий к подборкам стихов Галича. В других они прозвучали куда более откровенно, где уже как бы вменяется в вину, что не выдержал давления, не пережил с нами

”свинцовое время застоя”, уехал, но мы прощаем...

Но о настоящем перекосе пока еще карточного домика ”перестройки” в области литературы мы будем говорить ниже, а пока просто об Александре Галиче.

Что и как будет собирать Комиссия по его наследию, что включит, а что оставит за скобками, пока еще неизвестно. Напомним только, что еще до отъезда на Запад Галич не только в своей поэзии определял свою гражданскую и человеческую позицию, он и поступал соответственно — подписывал письма в защиту преследуемых писателей, правозащитников, вместе с Сахаровым он вошел в Московский комитет прав человека, это про него сказано, что, до времени не ассоциируя себя открыто с правозащитным движением, ”он из тех, кто это движение духовно подготовил”; что все, что он сам хотел собрать и увидеть напечатанным, он собрал, увидел и издал в трех книжках в зарубежном эмигрантском издательстве, название которого еще ни один из ”рыцарей перестройки и гласности” так и не сумел или не посмел выговорить — ”Посев”; что единственная профессионально, в студии, магнитофонная лента с песнями в авторском исполнении сделана в Норвегии, а распространяется все тем же ”Посевом”; что Галичем сделано много прекрасных радиопередач на радиостанции, на названии которой у ”рыцарей” языки тоже отсыхают — ”Свобода”; что с самого начала стал верным сотрудником журнала ”Континент”, а дружбе с его редактором, выдержавшей и Москву, и Париж, многим надо просто позавидовать высокой белой завистью;

что с издательством "Посев" его связывали не только авторско-издательские отношения, но и членство в политической организации, историю которой он надеялся написать; и даже такой маленький, но очень именно для Галича показательный штрих: известно, что выехал он по израильской визе, другой ни ему, ни другим не полагалось. Так вот первой заботой Галича еще в венском аэропорту было связаться с израильским консулом, чтобы лично поблагодарить представителя Израиля за предоставленную визу. И он это сделал при первой же возможности. "Я не забыл, Перец, я этого никогда не забуду", скажет он в "Генеральной репетиции" после эпизода с П. Маркишем. И в этом его шаге — тоже отдача долга за спасение...

Хочется верить, что не забудет обо всем этом Комиссия по литературному наследию Галича. Без перечисленного, далеко не полностью, не получится настоящего Галича...



А. Галич не оставил своих мемуаров, ибо не готовился умирать, а, может, и просто не думал ни о смерти, ни об автобиографии. Только перед самым отъездом из страны он составил книжку, вышедшую уже здесь, на Западе, под названием "Генеральная репетиция", в которой прослоил действия своей пьесы "Матросская тишина", так и не увидевшей зрителей при его жизни, главками отдельных воспоминаний. Да еще по каким-то отдельным кусочкам рассказывал он разным людям эпизоды своей жизни. Но это еще восстановимо

– найдутся люди, знавшие его, работавшие с ним, любившие его. Здесь же мы просто напомним...

*

Можно было бы его жизнеописание начать так: родился он в октябре 1918 года в Екатеринославе в семье Гинзбургов, которую, как когда-то говорили, можно назвать зажиточной или хорошего достатка. Но смотришь на год его рождения и понимаешь, что говорить об этом уже тогда можно было только как о чем-то относительном. Как следует из документов,

«уже в начале 1918 года в Екатеринославе большевиками был создан "Временный революционный штаб", состоявший, что характерно, из присланных из Петрограда Каверина и Васильева и одного рабочего Брянского завода – Аверина. Этот "революционный орган" сразу же занялся реквизициями, арестами, расстрелами. Аверин организовал "перевыборы" Совета рабочих и солдатских депутатов, и в переизбранный Совет вошло подобранное большевистское "большинство"» ("Архив Русской Революции", т. XII, Берлин, 1923, сс. 83, 86).

Правда, уже в марте был заключен "позорный" Брестский мир, по которому пришлось заплатить немцам Украиной и Кавказом. И еще на полтора года Украина ускользает от большевистского контроля.

Немцы оставались на Украине до конца 1918 года. А затем пришел "незабываемый" 1919 год. Вся Украина оказалась охваченной националистическими восстаниями, продвижениями и отступлениями Белой армии ген. Деникина, уда-

лой степной вольницей под знаменами всех цветов и под командованием атаманов и батек...

Был когда-то такой фильм "Зеленый фургон". В нем был найден совершенно удивительный образ того времени – собирательный мало-российский город, в котором можно было найти черты и Киева, и Одессы, и Екатеринослава, и Чернигова..., и голос за экраном говорит, что с определенной ритмичностью вдруг раздавался пушечный выстрел по вокзальным часам – так горожане узнавали о смене власти в городе. Почему-то каждая новая власть считала свои долгом именно так возвестить о своем приходе.

Наверное, вот в один из таких дней двинулась семья Гинзбургов на юг, в Крым, куда уже со всех концов стекались страждущие последней надежды и воли. Пройдет немного времени, и какая-то часть этих страждущих с теми же самыми военными маршами на пыльных губах, с которыми ходили в бой, поплывет переполненными пароходами в изгнание; другая потечет ручейками назад до рідных хат; а еще одна – и немалая – осядет там же, в Крыму. Гинзбурги останутся в Севастополе...

А потом, со второй половины двадцатых годов, будет Москва, и уже всерьез и надолго, до самой эмиграции.

Нет фактически никаких данных о семье А. Галича, о родословной. Сам он почти ничего о ней не рассказывал, видимо, считал, что нет ничего особо интересного рассказать – мол, семья как семья. И все же, когда зрелый человек в штриховых реминесценциях своего прошлого называет родителей "мама" и "папа",

читателю достается кусочек этой семьи. И возможно, что в каких-то образах "Матросской тишины" знавшие Галича узнают и его родителей. Или вдруг другой штрих: "старший брат моего отца – профессор Московского университета, пушкинист...". Но одного человека из близких он помнил с благодарностью до самого конца:

«...у меня был двоюродный брат. Он был мне ближе родных, он меня воспитывал. Ему я обязан тем, что выучился читать, чем-то стал интересоваться в жизни.. Он 24 года отбыл там: о нем я не забывал никогда и бесконечно страдал за него. Когда я пишу в "Облаках", что "недаром я 20 лет..", я пишу от имени Виктора, который был для меня больше, чем близким человеком».

А. Галич начал писать стихи с ранней юности. Даже намеревался заняться этим всерьез, поступив в 17 лет в Литературный институт:

«Как ни странно, меня приняли на поэтическое отделение необыкновенно легко и даже почти без экзаменов. Сыграла свою роль, наверное, заметка Эдуарда Багрицкого в газете "Комсомольская правда", которую он написал незадолго до своей смерти и где он в чрезвычайно лестных тонах упоминал мое имя».

Но кроме стихов у юного Галича была еще одна страсть – театр. Эта страсть оказалась сильнее. Театр пересилил, закружил, обворожил. А, может, Галич проникся правдой старого литератора:

«Если будешь писать – будешь писать... А тут, все-таки, Леонидов, Станиславский – смотри на них, пока они живы!».

И он стал поэтом. "Прежде всего я считаю себя поэтом" – с гордостью и полным правом скажет он о себе в 1974 году. Тогда же, в юности, театр пересилил и надолго:

«А потом для меня начался театр, и стихи на долгие годы и вовсе ушли из моей жизни».

Хотя даром, как он говорил, "стихоплетства" пользовался постоянно, как, например, во время войны в санитарном поезде:

«...пел под гитарный аккомпанемент частушки. Я сочинял их обычно тут же, на ходу, после предварительного разговора с комиссаром или начальником поезда. Частушки эти были крайне незамысловатыми, но зато в них упоминались подлинные имена раненых и медицинского персонала, описывались подлинные события – чаще всего комедийные – и поэтому они пользовались неизменным, незаслуженно шумным успехом».

Актерство он тоже бросит в конце войны. Займется и весьма успешно драматургией. Этак на добрых полтора десятка лет. Пока, наконец, не подступит ему поэзия к горлу, те самые строчки с кровью, что убивают – "нахлынут горлом и убьют". Нет другого такого человека среди наших литературных современников, кто бы вот так, как Галич, сразу, на виду у всех и бесповоротно "переступил через черту", отделил себя от прошлой жизни – праведной и грешной, яркой и веселой. До конца он будет помнить тот день, час и место, когда начался

его, как он говорил, "истинный, трудный и счастливый путь":

«Я ни о чем не жалею. Я не имею на это права. У меня есть иное право – судить себя и свои ошибки, свое проклятое и спасительное легкомыслие, свое долгое и трусливое желание верить в благие намерения тех, кто уже давно и определенно доказал свою неспособность не только совершать благо, а просто даже понимать, что это такое – благо и добро! <...> И нет во мне ни смирения, ни гордыни, а есть спокойное и радостное сознание того, что впервые в своей долгой и запутанной жизни, я делаю то, что положено было мне делать на этой земле».

Почему он взял поэтический псевдоним Галич? Может, по имени древней столицы Галицкого (Галичского) княжества, что когда-то сумело потеснить в величии Киев: в конце 12 века при князе Романе Волынском, когда роль Киева перешла на севере – к Владимиру, на западе – к Галичу. Правда, в конце прошлого века энциклопедии писали, что "Галич – бывшая столица Галичского княжества, ныне незначительный город Станиславовского округа Галиции, на пр. берегу Днестра, с 3400 жителей..." А может, от другого древнего русского города, что находился в Костромской губернии, на берегу одноименного озера Галич. История его связана с родом Ярославичей, с именем Дмитрия Донского, с известной четырехнедельной осадой казанских татар, которую город выдержал, с торговыми традициями. Но был еще у города герб, пожалуй один из самых впечатляющих: в красном поле арматура с выходящим из нее крестом св. Иоанна Крестителя. А может... Да

что гадать – может, найдется еще объяснение. Главное, что взял себе поэтическим именем звонкое русское имя – Галич! Шло оно ему очень.

Еще много вопросов неотвеченных...

Откуда у Галича вот эта "зависть тайная, летальная, как сказали бы врачи", к Александру Полежаеву, незаконному помещицкому сыну и простой крестьянке, веселому студенту, изгнанному из университета до времени за крамольную и озорную поэму "Сашка" (а донос – вспомним галичевское: "доносики, наветики страшнее, чем картечь" – об авторстве написал его будущий покровитель и ходатай), отданному в наказание в армию, сгубившую его бездушностью и бессмысленностью дисциплины... Поэту первой трети прошлого века, младшему современнику Пушкина, перед которым он, Полежаев, преклонялся и которому подражал. Человеку какого-то фатального невезения в жизни, но несмотря ни на что живущему поэзией и певшему. Певшему стихами свои гнев и боль, радость и восторг, грусть и отчаяние...

Грустно видеть бездну черную
После неба и цветов,
Но грустнее жизнь позорную
Убивать среди рабов.
И, попранному обидою,
Видеть небо над собой
С неотступной Немезидою
Безответственный разбой!
Где ж вы, громы-истребители,
Что ж вы кроетесь во мгле,

Между тем как притеснители
Властелины на земле!

А ведь поется на галичевское "По рисунку палешанина кто-то выткал на ковре Александра Полежаева в черной бурке на коне..."

О многом нужно вспомнить, чтобы составить и оставить в памяти образ Галича, каким он был в жизни, а не таким, каким его сегодня хотелось бы представить любителям ретуши и подкраски под сегодняшнюю сиюминутную конъюнктуру, называемую "перестройкой".

*

В периоды "детанта" искусство всегда становится одним из инструментов внешней политики. Создаются своего рода, по выражению Э. Неизвестного, "эксдиверсионные группы детанта". «Их состав, конечно, не всегда одинаков. Ведь для того, чтобы эти силы могли пожинать дипломатические успехи, требуются определенные формы искусства, приемлемые на Западе именно в данный период. Раньше это часто входило в конфликт с требованиями идеологического сектора на внутреннем фронте». Тогда-то и происходили прямо-таки "мучения", достойные древне-греческих трагедий у высших идеологических функционеров: Неизвестный или Серов? Евтушенко или Грибачев?.. Изменилось ли что-либо сегодня?

Внешне, безусловно, да. Во-первых, "дипломатической миссией" облечено несравненно больше людей, что позволяет многим из них искренне думать, что на самом деле никакой такой миссии они не выполняют, а просто ис-

пользуют возможность поехать на Запад и открыто говорить, высказывать мнения, честно отвечать на острые вопросы. Интересно заметить, что не промолчал еще ни один человек – сегодня надо именно говорить. Не в этом ли последнем главная черта сегодняшней миссии культурного детанта.

Но вот в журнале "Отчизна" (май 1988 года!!), который издается исключительно для внешнего пользования, в самый разгар детанта появляется гнуснейший пасквиль об Александре Галиче и Викторе Некрасове, но все "миссионеры" делают вид, что этого не было, не читали, не видели, не слышали. А потому еще никому в голову не пришло публично отказаться от участия в зарубежных мероприятиях, проводимых чуть ли не в обязательном порядке креатурой КГБ за границей – Обществом "Родина". Журналисты "особого профиля", обслуживающие это Общество, отплясывают на радостях по поводу любого очередного внутриэмигрантского скандала, собирают всю муть, слухи и слухи во всех эмигрантских кулуарах, чтобы позже, собрав все свое черное воображение, написать что-то, что порядочному человеку читать стыдно. И как тут не вспомнить строки Киплинга:

За что он умер и как он жил –
Это им все равно.
Добраться до мяса, костей и жил
Им надо, пока темно.

Война приготовила пир для них,
Где можно жрать без помех.

Из всех беззащитных тварей земных
Мертвец беззащитнее всех.

Здесь каждое слово про них, этих солдат пера, это они – всегда на войне, за границу едут, как в бой идут, на амбразуры кидаются. А уж на войне как на войне... Вот уж поистине: "Видно так, генерал, чужой промахнется, а уж свой в своего всегда попадет" (Б. Окуджава). И опять Киплинг именно о них:

«Вот он и вышел на свет, солдат –
Ни друзей, никого.
Одни гиены глаза глядят
В пустые зрачки его».

А вот уже начинается нечто такое, от чего у нормального человека вдруг кружится голова, посасывает где-то под ложечкой. Начинается негромко, без криков, страстей, споров – и приходит ощущение тихого помешательства. Даже горячечные выступления сталинистов типа Андреевой или воспаленные крики о жидомасонских заговорах не в состоянии вызвать такого нутряного ужаса, как это:

«В советской литературе, если иметь в виду глубинные, определяющие тенденции ее развития, социалистические идеалы сохранялись во все годы так же, как они сохранялись во всем обществе; и, наверное, поэтому нам оказалось по силам выдержать тяжелейшие испытания».

Бесполезно спрашивать, кому оказалось по силам их выдержать – автору этих слов или миллионам, которых кому-то было угодно сде-

лать в буквальном смысле "навозом истории" и "пушечным мясом"...

«Этих писателей (Гумилева, Волошина, Замятина), а также творчество Мандельштама, Ахматовой, Пастернака нельзя уложить в ту "социалистическую схему", которая существовала в нашем сознании, декларировалась с трибуны и на страницах прессы. Но при всем том их творчество несет в себе объективно элементы *социалистической культуры*» (!!!).

Тщетно спрашивать, а что же это такое – социалистическая культура. Сказавший это посмотрит на вас с доброй усмешкой, хитринка мелькнет в его глазах, и он только снисходительно покачает головой, мол, что с вас взять? Учат вас учат, да и чему вообще учат вас в школах?!

«Г. В. Плеханов, отец русского марксизма и учитель Ленина, в 1917 году заявил, что он не против революции..., но он боится, что эта социалистическая революция... приведет к установлению не диктатуры пролетариата, а к диктатуре личности, и Россия на долгие годы погрузится в политический мрак... Можно говорить о трагизме этого *мироощущения, несомненно социалистического*».

«Эти люди (Плеханов, Г. Лопатин – переводчик "Капитала" Маркса, В. Засулич, В. Фигнер, Н. Морозов, П. Аксельрод) духовно обслуживали предреволюционную эпоху, а в новую, послереволюционную вписаться не смогли – в этом была их трагедия, но полностью отказать им в социалистических воззрениях на этом основании, видимо нельзя».

«Теперь, когда мы знаем, кем был Сталин, у меня такое чувство, что многие из тех, кто уехал, — Бунин, Цветаева, Куприн, Гиппиус, Мережковский — не были бы тронуты, если бы остались в стране. Сталин преследовал только революционеров и среди писателей только тех, кто резко не соответствовал привычным представлениям... Тех же, кто писал в традиционной манере, не трогали; больше того, они Сталину были нужны».

И даже если, как Шаляпин, "к этой сволочи ни живым, ни мертвым", то снова мелькнет в глазах такого теоретика снисходительная усмешка, мол, не все так прямолинейно, уж Шаляпин-то точно "наш", "от сохи", да и когда это было, а вот отказать Шаляпину на основании этих слов, равно как и той "сволочи", в "социалистических воззрениях, видимо, нельзя".

Казалось бы, зачем говорить все это здесь, когда героем нашим является А. Галич? Оказывается, что все приведенное имеет к Галичу прямое отношение. Все эти цитаты взяты из интервью с "видным исследователем литературы, членом-корреспондентом АН СССР П. Николаевым", опубликованного в журнале "Аргументы и факты" (№ 43, 1988) — "Наша культура и есть социализм". Заканчивается это интервью так:

«Справедливым актом я считаю возвращение А. Галича, хотя лучшие его произведения еще не опубликованы».

Если попробовать приложить к Галичу все перечисленные Николаевым достоинства, по ко-

торым может происходить "возвращение блудных сыновей", то получается, что Галич — видный представитель *социалистической культуры*, хотя и не укладывающийся в привычную "социалистическую схему", не сумевший вписаться в "застойную" эпоху, что было его трагедией, но полностью отказать ему в *социалистических воззрениях* на этом основании, наверное, нельзя; поэт трагического *мироощущения*, но несомненно *социалистического*. Он не был *революционером* в литературе, то есть *рапповцем*, *вульгарным социологом* (тут, правда, мы и сами не уверены — именно черты вульгарного социологизма находили в стихах Галича записные критики периода "застоя"), он также не был *романтиком* (*символистом*, *имажинистом*, *акмеистом*, *футуристом* — правда, как уважаемый членкор объяснит, что именно футурист и вообще литературный "революционер" был объявлен "лучшим поэтом нашей эпохи"?), он не был даже *формалистом*, писал в общем во вполне *традиционной манере* "городского романса" и "блатной лирики" (именно к этому жанру теперь относят лучшие критики периода "перестройки" поэзию Галича). Поэтому зря он уехал в эпоху "застоя", его бы и так не тронули (*таких даже при Сталине не трогали*), тем более, что Брежнева смешно и сравнивать со Сталиным, да к тому же, «*вообще говоря, примеров благотворного воздействия эмиграции немного*».

Неужели и это предчувствовал Галич в стихах о дошлом историке:

Напишет он с чувством и с толком,
Ошибки учтет наперед,

И все он расставит по полкам,
И всех по костям разберет.

И вылезет сразу в середку
Та самая, наглая кость,
Как будто окурок в селёдку
Засунет упившийся гость...

Кажется, только А. Зиновьеву удалось запечатлеть в словах тот тихий ужас, что вползает в человека от подобного подхода, только вот такая зиновьевская, почти дьявольская издевка в состоянии снять этот ужас и вернуть человека в реальный мир:

«Ибанские физики открыли новую элементарную частицу. Назвали ее в честь изма изматроном... Физики открыли его ранее намеченного срока и с перевыполнением плана в два раза. Изматрон представляет собой единство противоположностей, все время переходит из количества в качество, одновременно находится и не находится в одном и том же месте, развивается от низшего к высшему путем отрицания отрицания по спирали и регулярно переходит на сторону пролетариата. Доктор философии Портян заявил, что об изматроне неоднократно писали классики. Изматрон так же неисчерпаем, как электрон. Западные физики, узнав об открытии ибанских коллег, сказали, твою мать, и сдохли от зависти...».

Неужели то, что излагает "видный исследователь литературы", и есть "новое мышление" в отношении эмигрантов? А ведь Николаев не первый. Об одном из целой серии подобных выступлений невозможно здесь не упомянуть — уж очень оно яркое!

Года полтора назад в солидном советском музыкальном журнале появилась большая статья о видном музыкально-общественном деятеле П. Сувчинском, сразу после революции уехавшем на Запад и скончавшемся в начале 1985 года в Париже. В этой статье Сувчинский представлен как необычайно культурный и широко образованный человек, проживший богатую событиями и дружескими связями почти со всей музыкальной элитой жизнь. (В скобках заметим, что после него остался богатейший архив, который, судя по всему, стоит того, чтобы как-то вспомнить и его теперь уже покойного держателя.) Например, приводятся несколько писем из переписки Сувчинского с Борисом Пастернаком – о, да, сегодня таких писем не пишут: там и древняя Эллада, и немецкая философия, и французские романтики, с языка на язык переходы легчайшие... Но как апофеоз удивительной интеллектуально-культурной глубины Сувчинского вытасчены из его писем несколько эпизодов, которыми автор статьи как орденом награждает Сувчинского. Один из них такой:

«В середине 30-х годов С. Прокофьев, в то время уже тесно связанный с советскими музыкальными организациями, задумывает капитальную кантату к 20-летию Октября на подлинные тексты В. И. Ленина и Карла Маркса. Поставленная им задача оказалась крайне трудной, новаторской, и, не надеясь на собственный литературный опыт, композитор привлек в качестве соавтора Сувчинского. Более подробно об этом написано в одном письме (автору статьи. – Ред.): «Сергей Сергеевич обратился ко мне, чтобы я указал и выбрал подходящие тексты на слова Маркса, Ленина... Я ему предло-

жил назвать кантату "Мы идем": первая часть - декларативная, плавная (хор tutti) была основана на знаменитой фразе Маркса "Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его"; вторая часть <...> была полемической - острый спор между Лениным и пораженцами <...>. Хор должен был быть разделен на две части и на несколько групп <...>. Между обоими хорами и группами возникает оживленный страстный спор <...>; третья часть своего рода Марш... в котором повторяется фраза-формула: "Мы идем!">. Можно себе представить, как отнеслась реакционная эмигрантская среда к смелой попытке С. Прокофьева и Сувчинского воплотить в монументальной кантате пламенные речи В. И. Ленина и грозную стихию Октябрьской революции!>

Так что у драматурга "перестройки" Михаила Шатрова были предшественники, да еще какие! А "Октябрьская кантата" теперь, "после многих лет забвения с успехом исполняется и ныне по праву считается одним из кульминационных творений С. Прокофьева!" Как не вспомнить здесь из древнего Оссиана в переводе незабвенного Александра Полежаева:

Какие барды воспоют
На арфе громогласной
И поздним летам предадут
Конец его ужасный?

Какой возвышенный певец
Возвышенных деяний
Возложит риторский венец
На урну злодеяний?

А. Галич смотрел на подобное "мышление" по-другому:

«Чтобы именно в советских условиях, в условиях невероятного давления, в условиях невероятной закрытости и лишения информации прийти к сознанию, что существует только один путь, путь борьбы, путь сопротивления лжи, прийти абсолютно осмысленно, а не только эмоционально, нужен какой-то определенный возрастной срок, период испытаний, период унижений. Причем унижения – не обязательно "государственные". Унижение может быть "личным" (это может переживать один) – внешне оно может даже казаться не унижением вовсе, а успехами. Но сам ты внутренне понимаешь, что это унижает тебя, человека искусства, человека, который хочет говорить с людьми, а не с начальством».

А Оссиан как бы заканчивает за Галича так:

Пади, венок поэта, в прах!

Ты – не награда злобе:

Одно добро живет в веках.

Порок истлеет в гробе!

Напрасно жалости злодей

У менестреля просит:

Проклятье брата и людей

Мольбы его разносит.

★

Началось ВОЗВРАЩЕНИЕ... И если еще можно в чем-то кого-то заклинать, если есть еще люди, способные слышать, то только в одном и только их – Александр Аркадьевич Галич

половину своей жизни, на родине и в эмиграции, отдал борьбе за свое и всех людей право на свободу вот так, как он понимал:

Я выбираю свободу,
Но не из боя, а в бой!
Я выбираю свободу
Быть просто самим собой!

И он же сказал, что "если зовет своих мертвых Россия, так значит - беда!" Сколько раз вставали наши мертвые, сколько раз готовы были они еще живые, хотя бы после смерти помочь, ибо то, что они оставили воистину бессмертно - СЛОВО. Но не приведи Господь, чтобы он оказался прав и в этом: *"Вот мы и встали в крестах да в нашивках в снежном дыму, смотрим и видим, что вышла ошибка, и мы - ни к чему!"* И если есть у человека хоть какое-то неоспоримое право на этом свете, так это право быть просто самим собой, и оно остается за ним и после смерти.



Андрес КОЙТ

Родные и близкие

Самое дрянное время в жизни человека, это – детство. За себя постоять – сил и разума не хватает, а на тебя цыкают все, кому не лень, – поэтому. Этот дурацкий закон я на себе пятнадцать лет изучаю. Я хожу в школу, живу в станице и нигде еще не был. По моей малости, родители говорят про меня, что взбредет: и молоко на губах, и сопли под носом, и женилка не выросла, и каши мало ел, и смоленого волка не видел, и жареный петух меня в задницу пока что не клевал, и чего только ни наговорят, лишь бы старшинство свое надо мной показать. А родни всякой у меня много, потому что мы коренные, всегда тут жили, то есть не всегда, конечно, а с тех пор, отец говорил, как при Екатерине Второй Запорожскую Сечь в эти края перевели. Моему деду только рюмку в себя на праздник перекинуть, – сразу заведет по-хохлацки: "Ой, спасибо той царице, что дала нам тут землицы". Еще он говорит, будто каждый человек обязан знать, от кого по фамилии происходит до седьмого колена. Я своих знаю до девятого, до самых, значит, Запорогов. А Валька председателей (мы с ним за одной партой сидим) говорит про своих: "Ханурики все и охломоны, вроде батьки, мозги еще ими засорять!" Он

мне за честность и прямоту нравится, и мы с ним водимся от других отдельно.

За то я и деда с бабкой люблю, за правду и за понятность, а остальное родство — ни одного терпеть не могу, потому что все придуряются, завидуют, хвальбуны и без обмана шагу не ступят. Они ко мне так же, как я к ним. Это, по-моему, нормально, что я им не нравлюсь. Отец им тоже не нравится. Он никогда не пьет, поэтому они говорят на него — жадный, денег на водку жалеет. Я спрашивал у отца: "Почему вы не пьете? Денег вам жалко?", а он говорит, что есть много такого, что ему понимать нужно, а с пьяной головы какое понятие? Но это всё я говорю просто так, для начала, а теперь хочу рассказать, как отец по облигации десять тысяч рублей выиграл. Дома у нас особо не шумели, а просто всем было весело, потому что за эти деньги отцу надо бы четыре года работать: и не есть, и не пить, и ни на что не тратиться. А дом старый; отец давно хотел другой купить, но не хватало денег. Если строиться, тогда, конечно, дешевле, только воровать надо, а он брезгует и не умеет.

Случилось это как раз под Рождество, так что на другой же день мамка наложила кутьи и велела отнести деду с бабкой, а они с тетей Мотькой на дальнем краю станицы жили. Я отнес, поздравил и про облигацию сказал, а они, вместо того, чтобы радоваться, перепугались вусмерть. Бабка принялась креститься на иконы, дед встал по стойке "смирно", лишь руки растопырил и бубнит всё время: "Это что ж теперь будет? Это что ж теперь будет?", а тетя Мотька посерела, позеленела, прилипла к

стенке и стала колотиться об нее головой, а сама рыдает и кричит, не перестает: "Чтоб вам холера всем, вы мою жизнь загубили! У кого есть, тому и Бог дает! У кого есть, тому и Бог дает! Чтоб вы сгорели! Чтоб ваша корова пропала! Чтоб у вас свинья сдохла от рожи!" Так кричала, так кричала, я такого крика не слышал даже по покойникам.

Меня тут же разом в сенцы выпроводили. Бабка меня обхватила и шепчет тихо, как от посторонних: "Тетку не слушай. Папке-мамке передай: спасибо, слава Богу, слава Богу. Пусть вам поможет Царица Небесная. Иди, Миша, с Богом, до дому". Дед говорит: "Ты, Миша, папке не рассказывай". А я зачем буду рассказывать, когда отец и без того знает. Мне деда жаль. Больше всего на свете он боится недостатка и денег. Это у него еще с тех пор, как раскулачивали. Тогда у них семья была двадцать душ, и держали они две коровы. А по закону считалось, что если две коровы, то - кулак и враг рабочего класса. Отняли коров, из дому выгнали, разбрелись они кто куда и жили кто как. С того времени мои родственники, чтобы прожить, и придуряться научились, и брехать не глядя: "Ах, светлая жизнь! Ах, дорогой порядок!", и тоже вот так злобиться, как тетя Мотья. Это я понимаю.

По пути зашел к дяде Петру, - он отцу родной старший брат. Я, правда, не к нему заходил, а к ихней Симке - она мне двоюродная сестра, совсем уже девка, школу кончает, и я через нее хорошие книжки достаю, не те, что про шпионаж, а другие, умные. Пока я к ним шел, все время думал, что теперь не буду говорить про облигацию, а они, оказывается,

уже без меня знают. Тетя Марыся сразу с меня пальто долой и – рассыпалась, не остановишь:

– Раздевайся, Мишечка, проходи, садись на лавку, как здоровычко? как дома? что так редко нас проводишь? или дорогу забыл? родство теряешь, загордились, теперь вы богатые, а мы бедные, нам теперь тебя и привечать не знаем чем, да мы не обижаемся, пусть другие сладко живут, а мы как-нибудь своим трудом, своим горбом, по копейке, по рублю, ты уж нас не презирай за нужду, не всем же тысячи считать, как вы, надо кому-нибудь и слезьми обливаться, мы на счастье не надеемся, счастье – оно того любит, кому горя нет, кто всю жизнь, как сыр в масле...

Её и так было противно слушать, да еще дядя Петро командует директорским голосом:

– Это правда?

– Что "правда"? – спрашиваю.

– Что! Что! – передразнил он меня. – Что Лёнька на облигацию выиграл, вот что!

– Правда, – говорю.

Тут он сразу же перестал со мной строго разговаривать, а вздохнул широко и сказал:

– Вот это – да!

И пошли всякие расспросы: что да как, да чего, но я больше отмалчивался, чем говорил. Дядя спрашивает:

– А не рассказывал папка, что он с ними собирается делать? Ну, там, купить чего или, там, еще чего?

– Нет, – отвечаю, – не рассказывал.

– Так-таки он тебе и скажет, – отплюнулась тетя Марыся семечками. – А то ты Лёньку не знаешь. У него снегу зимой не выпросишь, а ты – про деньги.

- Ну не брешь, - заступился дядя Петро за отца. - Снег снегом, дело прошлогоднее. А такая куча денег, - что ж их, по-твоему, солить? Куда их, ну? Посоветоваться не мешает. А ему с кем советоваться, как не с нами? Чужих людей в такое дело только пусти, они тебе насоветуют... Нет, тут, главное, чтоб все свои и по справедливости... А ну, Симка, - обернулся он к дочке, - мотай до дяди Васюни, одна нога тут, другая там. Передай: папка сказал, хочет по срочности...

Дядя Васюня примчался потный, дымный, кожух внакидку, мотня настезь - спешил. Он еще снег с валенок обивал на пороге, а уже хрипел басом:

- Вот повезло, так повезло! Ох, и молодец же Лёнька, ох, и молодец! Я так и знал, что он еще всей станице покажет, кто мы такие, какого заводу. Вот это капиталист! Вот это герой! Всесторонне!

Уже вдвоем они стали один поперед другого у меня выведывать, когда и как всё это было, да что мамка сказала, да что папка присказал, да кто из других эту облигацию видел или где она у нас лежала, но я знал мало и отвечал тоже в час по чайной ложке. Это им было нипочем. Они успевали и меня дергать, и между собой переговариваться, что такие деньги лучше получать крупными, чем мелкими, чтобы прятать легче; что замки в доме надо теперь все переделать, а дядя Петро и дядя Васюня с дорогой душой помогут отцу их переделать; что нашего старого кобелька Дозора в самый раз обязательно поменять на молодого и позлей, а дядя Петро с дядей Васюней знают, где достать стоящего барбоса, - настоящий

волкодав; что теперь нам надо держать ночью на всякий случай в сенях топор, в кухне ломик, но для горницы лучше культурно завести берданку, а дядя Васюня с дядей Петром знают, где есть продажная, десятый калибр, центральный бой; что теперь Лёнька (мой отец, значит) никуда от своих не открутится, ежели ему по закону положено развязать заглазник и выставить для родни закуску с горячим, лучше, конечно, денатурат, чем водку, потому что и дешево, и сердито, а дядя Васюня и дядя Петро знают, где добыть настоящий денатурат, кашинский, а это совсем не то, что калининский... Они и дальше бы рассуждали, если бы я нарочно не проболтался, что отец денег не получил, а выдали ему сберкнижку и в ней написали: столько-то рублей.

– Ишь ты, какой догадливый, – сказал дядя Петро и криво усмехнулся.

– Всесторонне, – добавил дядя Васюня и призадумался.

Некоторое время они сопели да ногами под столом ездили и молчали, будто им не стало о чем толковать, а когда тетя Марыся вмешалась, дядя Петро сказал ей:

– Цыть, не шебурши! – и послал ее в погреб за самогоном и кислой капустой, потому что у них при любом разговоре самогон – первый контакт. В два счета закуска и выпивка были на столе, но дядя Петро вторично рассердился на тетю, что она поставила чарки, а не стаканы, а у них, он сказал, дело большое и не наперстками его мерить. Оба немедленно приняли по стакану вонючего первака и, как зайцы, захрустели капустой. Дядя Петро по-хозяйски приказал тете Марысе и Симке, чтобы они

мотали со двора, куда хотят, на время, потому что сейчас пойдет мужской разговор и женщинам тут не место. Я тоже хотел уйти, но он меня не пустил и сказал дяде Васюне так:

— Я тебя позвал, Васька, чтоб ты знал, что я с тобой душа в душу, как с родным, а также для уважения, и если ты меня еще презираешь, то глубоко ошибаешься, даю тебе слово.

На это дядя Васюня ответил:

— Я тебя уважаю, как брата, хотя ты, паразит, с позапрошлого года мне должен, когда сдал моего бычка за своего, а своего за моего, а в моем было живого веса, любой бы сказал, на полцентнера больше, но я тебя за это не презираю, а уважаю и прощаю тебе, Петя, твой долг от чистого сердца, потому что ты старше и не время сейчас вспоминать.

Сказав так, он закрылся рукой и от жалости к бычку заплакал. Дядя Петро схватил дядю Васюню за шею, и они сидели в обнимку, плакали, целовались взасос с причмоком и вели растабары, что, мол, бычок — ерунда, а главное, не терять уважение друг к другу. Я хотел было тихо выйти, но меня опять силой придавили на лавке и сказали: "Терпи, казак, атаманом будешь". Оба разом вытерли глаза, а дядя Петро выдрал из симкиной тетради два листа, взял карандаш и сказал дальше:

— Теперь, значит, вот Мишка говорит, что Лёнька выиграл на облигацию вагон монет и, как я правильно понимаю, обязан с нами на днях поделиться, если он, конечно, брат. Чтоб он не сомневался, вроде это я сам, без никого, я и пригласил тебя, чтобы всё это дело честно, между своими, по совести и никого не оскорблять. Кроме того, мы с тобой старше, и он это

должен учитывать, что лучше, как мы с тобой, ему ни одна душа не посоветует, потому как братья, общая кровь и все должны в трудную минуту стоять горой.

- Всесторонне с вами согласен, - сказал дядя Васюня.

- Так вот, - продолжал выступление дядя Петро. - Хочу задать тебе один вопрос: есть у нас такой закон, чтобы брат брата не уважал?

- Нету такого закона, - решительно отрезал дядя Васюня.

- А у Лёньки еще есть братья, кроме как ты и я?

- Что ты, какие братья, ежели б не мы?

- Это, во-первых, - прозвонил дядя Петро карандашом по здоровенной бутылке. - Во-вторых, чего ему делать, скажи, с такими деньгами, как нас не отблагодарить? Мы кто? Коллектив. Огромная сила. Если всех, как мы с тобой собрать, что он один против нас сможет? Ни хрена! Потому и закон гласит всегда на стороне коллектива. Теперь рассуди обратно с другого боку. Взять, хоть бы, ты. Если бы тебе привалила такая сумма, ты разве бы забыл про меня, про него, про ваших-наших? А? Неужели бы не вспомнил? Не поделился? А, Вась?

- Да чего там! - отмахнулся дядя Васюня. - Завсегда. Ну, сам подумай, на кой мне одному такие деньги? Что я на них - на курорт или за границу? Мне и тут не дуется. Тебе бы дал, Мотьке, Якову, кому еще, а лично мне ничего не надо, только бы у вас было, - правильно? Мне и так хорошо.

- Тоже такого мнения, - кивнул дядя Петро. - Я бы еще не так сказал. "Вот, дорогие

братья и сестры, досталось мне нечаянно столько-то дурных денег. Я их не заработал, не добыл, ничего из хозяйства не продал, а вроде наподобие по дороге валялись, – верно говорю? Теперь вы их промежду себя по-хорошему делите, а я пошел домой”. Вот что бы я им, Василёк, отмочил.

– Это ты всесторонне, – согласился дядя Васюня.

Я уже сообразил, для чего у дяди Петра карандаш и бумага, – деньги отцовские делить. Мне стало обидно, что я в компании с ними заодно, и я сказал:

– Если вам, дядя Петро, своих денег не жалко, зачем же вам чужие? Вы же их все равно раздадите кому попало. Потому что чужие – тоже одинаково, что на дороге. Уж лучше тогда в фонд фестиваля молодежи и студентов, чем кому зря.

Дядя Петро и дядя Васюня посмеялись и выпили. Потом дядя Петро мне сказал:

– А еще комсомолец. Какой же из тебя авангард, если так рассуждаешь? Учат вас, учат, никак не научат... Что главней, общественное или свое?

Я честно ответил, что не знаю. Тогда дядя Васюня настырно стал мне объяснять:

– Как же ты не знаешь, когда я у тебя русским языком всесторонне спрашиваю: что, например, важней, колхоз или дом?

Я сказал, что дом важней, потому что в колхозе только работают, а работать везде можно, а дома и живут, и спят, и едят, и хозяйство держат, и всё. Они стали доказывать, что я не прав, что в колхозе техника, план, дворец культуры и многое другое, а дома одна

лишь корова и больше ничего, но мне было непонятно, как они ночевали бы во дворце с крысами, а выпивали бы на тракторе, и капуста бы у них стояла под ногами, где сцепления и передачи, а четверть с самогоном и вовсе поставить некуда.

Им было ясно, что я им не верю, и они принялись напирать, что я еще молодой, недопонимаю политику и конституцию и даже недопонимаю, что государство прежде всего, а люди потом, так как, если с людьми плохо, это не имеет значения, а когда государству трудно, то от этого страдает весь земной шар и все негры. Но я сказал, что это мне понятно, и опять же повторил, что пусть лучше отец вернет деньги государству, чтоб неграм веселей жилось, чем всем подряд абы кому. Тут они на меня разозлились, выпили еще по стакану, а дядя Петро обтерся, припомнил мне жареного петуха и прочитал лекцию, что у меня молоко, мол, на губах им указывать, и что, когда я вырасту, то пойму, что государству эти деньги даром не нужны, потому что государство наше стоит сейчас на таких крепких ногах, как никогда, и будет стоять, пока такие, как дядя Петро с дядей Васюней, не переведутся, а мне пора уже расширять свой кругозор и допонимать, что мы "их" всесторонне ракетами закидаем, если "они" на нас нарвутся.

Я засмеялся, потому что подумал, будто государство – высокий до неба мужик: одна нога у него – дядя Васюня, другая – дядя Петро, а они уже оба под булдой, и мужику с такими ногами способней лежать, чем ходить. Из-за смеха они обиделись и стали говорить, что я пошел в отца и старших не уважаю, а вот

когда они были в моих годах, то всех старше себя уважали и никогда не спорили, а слушались, и все их хвалили, — какие, мол, хорошие ребята, интересно, чьи это они такие? — а меня хвалить не за что, потому что много о себе воображаю, будто я умней всех, а на деле — дурак дураком и уши холодные.

Мне с ними уже порядком надоело, и я сказал:

— Раз я дурак, то меня и держать нечего, хочу домой, — но дядя Васюня сгреб меня в охапку и пересадил между собой и дядей Петром, чтобы я не удрал, и дал мне из капусты моченое яблоко, а сам сказал, что, мол, ихняя Симка брешет, будто у меня по математике круглые успехи, но это еще надо доказать, что я за "профессор", и они это сейчас проверят, потому что у них тоже планируется высокая математика. Дядя Петро тут же взял листок и написал вверху единицу с четырьмя нулями. Я понял, что это отцовские деньги и сейчас их начнут делить, кому сколько надо.

Сперва они потолковали, что деду и бабке ничего не надо, так как преклонный возраст, одной ногой в могиле, а туда всех бесплатно пропускают и так далее, это — раз, а во вторых, старикам сколько ни дай, они их в тот же день тете Мотьке за жалобные глаза отдадут, — "болезная, несчастливая, доли нет, муж бросил", а с ней ни один мужик не уживется, потому что жадная, почти как мой отец, из-под себя жрет и все говорит "мало". Самой тете Мотьке в наказание за жадность назначить пятьдесят рублей и — будет.

Тетя Танька жила в городе, а там универмаги, такси, рестораны, штук двадцать всяких

театров и, вообще, что твоя душа желает, не то, что в станице, где за каждую копейку надо биться Сталинградской битвой. Дядя Петро записал ее вторым номером и выделил сотню, но дядя Васюня сказал, что Мотька обидится, если Таньке больше дать, а здесь, главное, чтобы всесторонне, по-честному, безо всякой зависти или обиды, а значит, поровну. Не возражая против, дядя Петро вычеркнул цифру "сто" и нарисовал "пятьдесят".

Вслед за тетей Танькой дядя Петро записал себя с дядей Васюней и определил каждому по две тысячи. Дядя Васюня засомневался и спросил:

– Не много?

Но дядя Петро ответил:

– В самый раз. Еще больше половины остается. Куда при таких деньгах "много"!

Они поразговаривали некоторое время про уважение дядя Петра к дяде Васюне и взаимно дядя Васюни к дяде Петру, и про отца, который им – младший барт и должен их категорически уважать, как они его уважают, хотя он и жадный, – "всё себе да себе, а другие пусть, как хотят". Мне они посоветовали не слушать отца, а учиться жить у них по-коммунистически, тогда всё у меня в жизни будет путём и всесторонне передово.

Все же после разговоров они повели дележ осторожней и не тысячами уже, а сотнями, но это, может, потому, что дальше пошла двоюродная, троюродная и прочая шушваль, как дядя Васюня высказался. Я – кого знал, кого нет, потому что станица большая и людей много, но от меня и не требовалось всех знать, а только лишь сидеть и слушать, как старшие порешат. Я

вовсе, например, не знал, что есть племянш Сеня, который будто бы сказал про отца когда-то: "Я за дядю Лёньку отдам хоть самого черта", и вообще, услышал о нем только теперь, когда дядя Петро начислил ему пятьсот рублей за это обещание.

Дядю Яшку я, правда, знал, даром что он мне четвероюродный. Его все знают. Он, как выпьет, так, первым делом, лезет на крышу хаты и кричит прохожим: "Граждане, стой! Доклад ставит Бажан Яков!" Этот дядя еще лет двадцать назад сказал отцу: "Учись, Лёнька. Выше-среднее образование, это - всё. Достигнешь науку, будешь кусок хлеба иметь". Поэтому дядя Петро и дядя Васюня рассусоливали про него, загибая пальцы, что если б не дядя Яшка, остался бы отец без выше-среднего образования - раз, не сделался бы агрономом - два, не заимел бы облигацию - три и, значит, ни шиша бы не выиграл - четыре. В целом, за разумный совет дяде Яшке полагалось четыреста отцовских рублей или по сотне за каждый загнутый палец.

Вспомнили о детях. У дяди Петра был сын Витька, а у дяди Васюни - дочь Сонька, мне двоюродные брат и сестра: он - женат, она - замужем. Оба жили отдельно сразу, как поженились, но всё одно - не чужие. Соньке выделили сто сорок рублей, а Витьке - сто шестьдесят, потому что Сонька только еще ходила беременная, а у Витьки уже Сашок бегал, дяди Петра внук, такой шустрый и зубатый, что все удивлялись. Вот Сашку и положили по рублю на зубок, поэтому Витьке вышло больше, а Соньке меньше.

Потом шел сват Федя, бывший дяди Васюни сосед и лучший друг "не-разлей-вода", который подался на заработки и уже лет пять от него не было ни слуху, ни духу. Свата Федю включили в список под вопросом и договорились послать ему сто рублей для хохмы, когда адрес достанут... Так как народу было много, одного листа не хватило и перешли на второй.

Я никогда не думал, что у меня столько родственников и что отец всем им так сильно задолжал. Наверное, поэтому отца записали на другом листке в последнюю очередь, тридцать каким-то по счету, когда всех родичей перебрали. Дядя Петро жирно подчеркнул столбики имен и цифр, налил себе и дяде Васюне, чокнулся (чуть стаканы не разлетелись), покрасовался на список, выпил и затянул, как на гулянке:

- Вся са-га-ветская страна-а-а!

Дядя Васюня поддержал. Пока они пели песни, я высчитал. Получилось пятнадцать тысяч восемьсот. Дядя Петро взял листок и самолично отнял от этого числа десять тысяч выигрыша. Он переглянулся с дядей Васюней и сказал:

- Что за гадство? Обратно больше половины остается.

- Так в чем же дело? - отозвался дядя Васюня. - Раскинь, что осталось, на двоих. Всесторонне.

- А Лёнька? - спросил дядя Петро.

- Ну, на троих, - ответил дядя Васюня. - Не жалко. Брат, как-никак. Дай Бог, чтоб и он к нам так же всесторонне, как мы к нему, в трудную минуту.

- Тут что-то не то, - мрачно сказал дядя Петро спустя время. - Раскинул. Получается у

нас троих чуть не двенадцать тысяч. А их всего десять.

— Не можешь считать, не берись. Дай я, — сказал дядя Васюня и вырвал у дяди Петра листки с расчетами. Но у него тоже вышло, что троим братьям вкладчину полагалось больше, чем было в кассе. Он швырнул карандаш, ухватил меня за шиворот и обдал самогонным духом:

— Ну, студент наук? Это что ж такое, а?

Я сказал, что по правилам отнимать надо от десяти тысяч, а не от пятнадцати. Они стали делать, как я велел, но у них опять ничего не получилось, потому что уменьшаемое было меньше вычитаемого. Я им объяснял и объяснял, пока не вдолбил, что денег на всех желающих не хватает и, чтобы хватило, надо скостить или деньги, или желающих.

— Молодчина! — похвалил меня дядя Петро. — Голова! Инженер-электрик! Переводим тебя в будущий класс без экзамена.

Началось вычитание. Сперва решили скинуть по полсотни с каждого, кроме дяди Петра и дяди Васюни, а я следил, как вместе с деньгами полетели из списка знакомые и незнакомые родственники: тетя Мотья, тетя Танька, кум Иван Первый, кум Иван Второй, шурик, свояк, зятек, ятровка и прочая шушваль.

Список до того перепачкали и вывозили, что трудно было прикидывать в уме, но я все же сладил и сказал: надо еще скостить, а то опять денег не хватит. На этот раз решили удержать со всех по сотне без поблажек, в том числе с дяди Петра и с дяди Васюни тоже. Скостили. Выбыл из строя лучший друг дяди Васюни, сват Федя, так и не дождавшись денеж-

ного перевода. Вылетел покойного двоюродного деда Кузьмы троюродный внучок Сережа, очень толковый мужик, но, сказали дядя Васюня и дядя Петро, не особо нуждающийся. Ушли двоюродные Сонька и Витька, а с Витькой и зубатый Сашок. Дяде Яшке из четырехсот целковых оставили только-только на папиросы. Заодно вспомнили что-то нехорошее про племяша Сеню и не дали ему ни копыя, вычеркнули всего. Таким манером исключили человек десятка до полтора. Вообще черкали много, и скоро на бумаге стало ничего не разобрать, кому сколько. Я сказал, что теперь денег приблизительно хватит на всех, только я считать больше не буду потому что намарали, а кто марал, тот пусть и переписывает, если надо, чтобы в точности.

Дядя Васюня хотел переписать, потому, мол, что он на голову крепче и сколько ни выпьет — море по колено, но дядя Петро сказал, что у него зато почерк лучше, хотя я сразу догадался, что почерк ни при чем, а просто дядя Петро смухлевал и забыл у себя отобрать, когда у всех отнимали. Потому он и в этот раз захотел, чтобы проскочило, и у него тогда больше, чем у других, будет. Он хоть и пьяный, а хитрый: прикинется, будто спит, а сам всё слышит, что говорят... Они оба такие: пьют до одной точки, а дальше того не хмелеют, лишь красные и соображают туго, если у них что спросить...

Вот дядя Петро переписал всё набело (на одном листке поместилось, немного, правда, коряво, но для пьяного очень даже ничего) и подает мимо дяди Васюни, а сам улыбается, как

подлиза, моргает мне дальним глазом и спрашивает:

– Ну, как?

Я посмотрел, посмотрел...

– Нет, говорю. – Наверное, отец не согласится. Ему тут меньше всех причитается.

– А это мы добавим, подмогнем, это в наших силах, – расщедрился дядя Петро. – Верно, Васька? Давай с Лёнькой поделимся, с младшим нашим, единотрудным, единоукропным... И выпьем за него по целой.

– Всесторонне, – говорит дядя Васюня. – Только мое такое мнение: денег уже теперь не трогать, а лучше скостим ему выпивку, какую он нам должен поставить по такому случаю. Это ему рублей на пятьсот прибыль, если посчитать, сколько мы выпить можем, а то и больше.

– Совсем, – я говорю, – не больше. Тут отцу всего получать по списку двести тридцать рублей. Это разве деньги? Вы, когда свою Соньку замуж отдавали, даже глухому Захару пастуху в рот кричали: "Полторы тысячи! Полторы тысячи!" Думаете, я не понимаю, да?

– Каких двести тридцать? – говорит дядя Васюня и привстает. – Ты чего мелешь? – а сам... хват! у меня листок и ну – ревизия.

Потом поворачивается, набычившись, к дяде Петру:

– Так ты себе, значит, две тысячи, а Ваське тысячу семьсот и, мол, будет с него, перебьется. Васька, мол, таковский, лыком шитый, мешком из-за угла стукнутый. Ах ты, жулик, паразит! Привык на чужих харчах заедаться! А это видал? – Дядя Васюня скрутил крупную дулю с загогулиной и сунул ее дяде

Петру прямо в сопатку. – На, пососи и больше не проси! Ушлый какой нашелся! Думаешь, если старше, так на мне воду возить? Думаешь, я тебе рябого своего бычка так и простил? Аферист!

Завязалась у них свара. И тетя Марыся только что вернулась, тоже влезла, как затычка в дырку.

– Стыд и позор тебе, Васька, за такие слова! Нужен был нам ваш дохлый бычок, как твоей Насти попа. Мы чужого сроду не брали, хоть у кого спроси. Нас все до райкома знают-уважают. Мы не крадем колхозное сено по ночам, как ты!

– Херов, как дров! – вызверился на нее дядя Васюня и, ни к селу, ни к городу, приплёл мать Христофора Колумба. – А ты забыла, морда странная, что я тебе этого сена краденого целую скирду наметал? Забыла? Тогда я Васюня был, а теперь Васька? Да я вас, падлы, всесторонне презираю до одного!

– Меня?! – вскипел дядя Петро слюнями. – В моем доме?! За мое добро?! Презираешь?! Ах ты, зараза! Марыська, а ну, неси топор, я ему голову отрублю!..

Пока они ругались, я под столом пролез, шапку схватил, пальто и – ходу! Только за двор выскочил, стекла зазвенели битые и тетя Марыся дурняком заголосила:

– Ой, ратуйте! Ой, люди добрые! Ой, убивают! Ой, милиция!..

Вот и всё. Конечно, никто никого не убил, только окна да посуду переколотили. А денег отец так никому и не дал. Он продал старый наш дом, еще добавил, что раньше набралось, да облигация помогла, и купил кирпичный. В ста-

нице можно хороший дом купить, так как все чистые хотят жить в городе и туда переезжают, а отец не хочет, "потому, - говорит, что землю люблю". Когда я выучусь, я тоже, может, буду так, а пока - нет, потому что нас в колхозе гоняют и на посевную, и на уборку, и ничего за это не дают, лишь обзывают по-всякому, если заболел или собрал мало. И в школе говорят: "Если человек любит родную землю, это - настоящий патриот, а если не любит, то - предатель". А за что он ее любит или не любит, не говорят. Может, он ее за дело не любит. Надо сначала, чтобы она ему понравилась, а потом уже любовь, я так понимаю. Я вот хочу, чтобы она мне понравилась, а она - ни в какую. А по-другому я не могу.

1980



Волчьи ягоды *

* * *

Памяти Александра Полежаева

Погибну ли юнцом
и фатом на фанты?
Юсуповым кольцом
на Гришкины следы?

Не верю ни жене,
ни мачехе, ни другу
в чахоточной стране,
где казни пахнут югом,

где были номера
и Англии, и ангела,
тень моего пера,
что грабила и лапала.

Сходились на погост
и в день рожденья сыщика
мы поднимали тост
за лучшего могильщика.

И шебуршила знать,
когда нас запрещали

* Из самиздатского сборника Л. Губанова "Ангел в снегу". Стихи в разделе "Волчьи ягоды" помечены 1972 годом.

в такие годы брать.
Мороз по завещанью,
стеклянная пора,
где глух топор и сторож,
где в белый лоб дыра,
где двух дорог не стоишь.

Где вам жандармы шлют
гнилой позор допросов,
где всем поэтам шьют
дела косым откосом.

Где узнают карниз
по луже с кровью медленной
полуслепых кулис:
там скрылся всадник медный.

Где девки, купола,
где чокнутое облако...
Россия, как спала?
С утра, наверно, робко вам?!

И щами не щемит
во рту народовольца,
и брежжит динамит,
и револьвер готовится.

Горбатая Москвой
Россия зубы скалит,
ее с ее тоской
могила не исправит.

Копеечной свечой
чадят ее секреты.
Печорин горячо
напишет с того света.

Ворую чью-то грусть,
встречаю чью-то лесть.
Белеющая Русь,
я твой порожний рейс!

Толпа, толпа, толпа,
среди бровей поройся!
Не дура та губа
на бронзовом морозе!

О, если б был пароль
для тех ночей начальных,
то тот пароль – мозоль.
Храни меня, отчаянный!

Как снятие с креста,
судьба моя печальная.
Храни меня, звезда,
счастливая, случайная!

НАПИСАНО В ПЕТЕРБУРГЕ

А если лошадь, то подковы,
что, брызжа сырью и сиренью,
что рубят тишину под корень
неисправимо и серебряно.

Как будто Царское Село,
как будто снег промотан мартом,
еще лицо не расцвело,
но пахнет музыкой и матом.

Целуюсь с проходным двором,
справляю именины вора,

сшибаю мысли, как ворон,
у губ с багрового забора.

Мой день страданием убелен
и под чужую грусть разделан.
Я умилен, как Гумилев
за три минуты до расстрела.

О, как напрасно я прождал
пасхальный почерк телеграммы.
Мой мозг струится, как Кронштадт,
а крови мало.. слышишь, мама?

Откуда начинается грусть?
Орут стихи с какого бока,
когда всю пылает Русь,
И Бог гостит в усадьбе Блока?

Когда с дороги перед вишнями
ушедших лет, ослепших лет,
совсем сгорают передвижники,
и есть они, как будто нет!

Не попрошайка я, не нищенка,
прибитая злосчастной верой,
а Петербург, в котором сыщики
и под подушкой револьверы.

Мой первый выстрел не угадан,
и смерть напрасно ждёт свиданья.
Я заколдован, я укатан
санями золотой Цветаевой.

Марина, ты меня морила,
но я остался жив и цел.

А где твой белый офицер
с морошкой молодой молитвы?

Марина! Слышишь, звезды спят,
и не поцеловать досадно,
и марту храп до самых пят,
и ты, как храм, до слез до самых.

Марина! Ты опять не роздана.
Ах, у эпох, как растерях,
поэзия – всегда Морозова
до плахи и монастыря!

Ее преследует собака,
ее в тюрьме гноит тоска.
Горит, как протопоп Аввакум,
бурли-бурлячая Москва.

А рядом, тихим звоном шаркая,
как будто бы из-за кулис
снимают колокольни шапки,
приветствуя социализм!

БАНДЕРОЛЬ СВЯЩЕННО ЛЮБИМОМУ

Александру Галичу

Молись, гусар, пока крылечко алое,
сверкай и пой на кляче вороной,
пока тебя седые девки балуют
и пьяный нож обходит стороной.

Молись, гусар, отныне или присно
на табакерке сердце выводи,

и пусть тебе похлопает отчизна
святым прикладом по святой груди.

Молись, гусар, за бочками, бачками
на веер карт намечены дуэли,
да облака давно на вас начхали,
пока вы там дымили и дурели.

Молись, гусар! Я расскажу вам сказку,
когда курок на спесь не дарит спуску.
Ведь ваша честь – разорванная маска,
где вместо глаз сверкает гной и мускул.

Молись, гусар! Уже кареты поданы.
Молись, гусар! Уже устали чваниться.
Гарцуют кони, и на бабах проданных
любовь твоя загубленная кается.

Молись, гусар! Во имя прошлых девок,
во имя Слова, что тобой оставлено,
и, может быть, твое шальное тело
в каких-нибудь губерниях состарится.

Молись, гусар, пока сады не поняли.
Молись, гусар, пока стрельцы не лаются,
ведь где-нибудь подкрасит губы молния,
чтобы тебе при случае понравиться.

И только тень, и только пепел, пепел,
паленый конь, и лишь грачи судачат.
И только вздрогнет грязно-медный

гребень...

А снявши голову, по волосам не плачут!



ТРИ РАССКАЗА

Случайный попутчик

Когда Эшенден вышел на палубу и увидел за бортом низкую кромку берега и белый город, он почувствовал бодрящее и радостное волнение. Был ранний час и солнце не успело подняться высоко, но море уже отливало зеркальным блеском и по небу разлилась синева; теплое утро предвещало жаркий и душный день. Владивосток. Край света. Эшенден проделал кружной маршрут – из Нью-Йорка в Сан-Франциско, оттуда на японском пароходе через Тихий океан до Иокогамы, а в Цуруми – единственный англичанин среди пассажиров – пересел на русский пароход и поплыл по Японскому морю на север.

Из Владивостока путь его лежал по Сибирской железной дороге в Петроград. Задание, порученное Эшендену на этот раз, было сложнее предыдущих, и он гордился сознанием особой ответственности. Ему было позволено действовать на собственный страх и риск и не стеснять себя в расходах – в специальном поясе под одеждой Эшенден вез аккредитивы на сумму, при мысли о которой захватывало дух. Поручение, доверенное ему, было невыполнимо, но Эшенден не знал этого и верил в успех. Он полагался на собственную смекалку. Высоко

ценя благородные душевные порывы, Эшенден был невысокого мнения о человеческом интеллекте. Давно замечено: люди охотнее готовы ринуться в огонь и воду, чем корпеть над таблицей умножения.

Предстоящее десятидневное путешествие по русской железной дороге не вызывало у Эшендена особого энтузиазма — еще в Йокогаме прошел слух о взорванных мостах, заторах на узловых станциях и солдатских бунтах. В пути, пугали его, вас непременно ограбят до нитки, а потом отпустят на все четыре стороны. Веселенькая перспектива — скитаться по тайге, ничего не скажешь. Однако было достоверно известно, что поезда в Петроград все-таки ходят, и как бы ни обернулось дело (а Эшенден твердо верил, что худшие предчувствия никогда не сбываются), он рассчитывал уехать с владивостокским поездом. По прибытии в порт Эшенден намеревался тотчас же отправиться в британское консульство и выяснить, побеспокоились ли о его отъезде; но чем ближе корабль подплывал к берегу и чем отчетливее вырастал перед глазами Эшендена невзрачный город с покосившимися домишками, тем больше он начинал поддаваться унынию. Он знал лишь несколько русских слов. Единственным человеком среди пассажиров и экипажа, говорившим по-английски, был судовой кассир, но, хотя он и старался держаться по-свойски, Эшенден не испытывал к нему особого доверия. Поэтому он почувствовал облегчение, когда корабль пришвартовался к берегу и появившийся на палубе молодой человек невысокого роста с явно еврейской внешностью и растрепанной шевелюрой осведомился, не Эшенден ли его фамилия.

- Я Бенедикт, переводчик при британском консульстве, - отрекомендовался он, - мне поручено встретить вас. Место в вечернем поезде забронировано.

Эшенден повеселел. Они сошли на берег. Низенький еврей подхватил чемоданы Эшендена и отнес на проверку его паспорт, после чего они уселись в поджидавший автомобиль и отправились в консулат.

- Мне предписано оказывать вам всяческое содействие, - приветствовал Эшендена консул, - скажите, чем я могу быть вам полезен. Место в поезде мы забронировали, но доберетесь ли вы до Петрограда, одному Богу известно. Да, кстати, у меня есть для вас попутчик. Он американец, служащий одной филладельфийской фирмы. Едет в Петроград заключать контракт с Временным правительством. Его фамилия Харрингтон.

- Что он за человек? - поинтересовался Эшенден.

- Вполне достойный. Я хотел пригласить его на ленч, но он вместе с американским консулом поехал прогуляться за город. Советую вам на вокзал собраться пораньше. Поезда у нас тут теперь берут с боя, не поспеете во-время, можете остаться без места.

Поезд отходил в полночь, и Эшенден с Бенедиктом поужинали на вокзале, единственном, как видно, месте в этом захолустье, где сносно кормили. Ресторан гудел. Блюда подавали невыносимо долго. До отправления поезда оставалось еще часа два, и они вышли на перрон - там было не протиснуться. Целые семьи сидели и лежали вповалку, как на биваке. Люди толкались, собирались кучками, яростно

спорили. Надрывно голосили бабы, какая-то женщина украдкой утирала слезы. Рядом с ней сцепились два мужика. Одним словом, форменная анархия. В мертвенно-холодном свете станционных фонарей лица казались восковыми, как у покойников в ожидании Страшного Суда — покорные и истомленные, покаянные и отчаявшиеся. Подали состав, он был переполнен. Когда Бенедикт разыскал, наконец, нужный вагон, навстречу им бросился какой-то мужчина.

— Проходите и располагайтесь, — заговорил он. — Я отстоял ваше место с превеликим трудом. Один тип с женой и детьми хотел занять его. Наш консул пошел объясняться к начальнику станции.

— Это мистер Харрингтон, — сказал Бенедикт.

Эшенден прошел в двухместное купе. Носильщик разложил чемоданы по полкам. Эшенден пожал руку своему попутчику.

Мистер Джон Куинси Харрингтон был низковат и худощав, на его желтоватом скуластом лице выделялись широко раскрытые голубоватые глаза; когда он снял шляпу-котелок, чтобы отереть обильный пот со лба, под нею обнаружился массивный лысый череп — шишковатый, с какими-то удивительными вмятинами. Костюм мистера Харрингтона состоял из черного сюртука, жилета и брюк в полоску, высокий стоячий воротничок украшал тонный неброский галстук. Хотя Эшенден и сам не слишком хорошо представлял, как следует одеваться, отправляясь в десятидневное путешествие через Сибирь, облачение мистера Харрингтона показалось ему экстравагантным. Голосок у мистера Харрингтона был самоуверенный и звонкий, по акцен-

ту Эшенден определил, что его попутчик — уроженец Новой Англии.

Вскоре появился начальник станции в сопровождении сумрачного бородатого русского и дамы, которая вела за руку двух детей. Бородач слезно упрашивал о чем-то начальника станции, а его супруга всхлипывала и причитала. Возле вагона они заспорили еще сильнее, так что Бенедикту пришлось вмешаться и блеснуть своим отличным русским языком. Мистер Харрингтон, наверное, по природной запальчивости, тоже не утерпел и ввязался в спор, хотя не знал по-русски ни единого слова, и принялся высокопарно объяснять, что места эти зарезервированы великобританским консулом и консулом Соединенных Штатов, что за английского короля он, мистер Харрингтон, поручиться не может, но что президент Соединенных Штатов, запомните это, никогда не допустит, чтобы американского гражданина, уплатившего за железнодорожный проезд, лишили законного места. Он, конечно, будет вынужден подчиниться силе, но если до него посмеют дотронуться, он сию же минуту заявит протест консулу. Всё это и многое другое он выложил начальнику станции, который, конечно же, не имел ни малейшего понятия, о чем толкует мистер Харрингтон, и в ответ произнес прочувствованную речь, помогая себе жестами. Это привело мистера Харрингтона в совершенное иступление и он с перекошенным лицом подступил к начальнику станции.

— Скажите ему, — кричал он Бенедикту, размахивая кулаками, — что я ничего не понимаю и понимать не желаю! Если русские хотят, чтобы их считали цивилизованным

народом, то пусть изволят изъясняться на языке цивилизованных людей. Передайте, что меня зовут мистер Джон Куинси Харрингтон и что я еду в Петроград по поручению мистера Кроу и мистера Адамса из Филадельфии с личным рекомендательным письмом к мистеру Керенскому, и, если меня не оставят в покое, мистер Кроу снесется с администрацией в Вашингтоне!

Вид у мистера Харрингтона был воинственный, жесты — грозные, и начальник станции спасовал: без единого слова он повернулся на каблуках и, понурившись, пошел прочь. Бородач, его слезливая жена и тщедушные дети потянулись за ним. Мистер Харрингтон вскочил на подножку вагона.

— Если бы вы знали, до чего мне совестно, — заговорил он, войдя в купе. — Даме с детьми не уступил место. И это при моем-то уважении к женщине, к матери. Но что же прикажете делать — я обязательно должен попасть в Петроград с этим поездом, хоть убейте, иначе пропадет важный подряд, а мыкаться десять дней в тамбуре, извините, не согласен даже ради всех русских матерей.

— Не смею осуждать вас, — сказал Эшенден.

— Я, знаете ли, сам женат, имею двух детей. С семейными переездами всегда морока, но раз такое дело, то и сидели бы дома.

За десять дней дорожного попутчика можно изучить насквозь. Эшендену же пришлось провести в компании мистера Харрингтона не десять, а целых одиннадцать суток. Три раза в день они посещали вагон-ресторан и там сидели за одним столиком, а утром и днем, когда поезд делал часовую остановку, вместе выхо-

дили на перрон размяться. Эшенден свел знакомство с несколькими пассажирами и они иногда захаживали к ним в купе потолковать, но если гости, не дай Бог, изъяснялись по-французски или по-немецки, мистер Харрингтон взира́л на них с язвительным неодобрением, англичанам же и американцам не давал рта раскрыть. Мистер Харрингтон был говорун. Говорливостью природа наделила его заодно с дыханием и пищеварением, и говорил он не для того, чтобы высказаться, а совершенно непроизвольно — нудно, монотонно, немного в нос, не меняя интонации. Мистер Харрингтон плел размеренные цветистые фразы, выбирая слова подлиннее, не замолкая ни на секунду. Остановить его было невозможно. Нет, это не был фонтан красноречия — ему не хватало напора, речь его скорее напоминала лаву, которая медленно и неотвратимо ползет по склону вулкана, сметая все на своем пути.

На Эшендена обрушилась лавина сведений о мистере Харрингтоне, его взглядах, привычках, домашних и служебных делах, о его супруге и ее сородичах, детях и их сверстниках, о владельцах его фирмы, вплоть до третьего и четвертого колена, и их родстве с лучшими семьями Филадельфии. Предки мистера Харрингтона, уроженцы Девоншира, переселились за океан в начале восемнадцатого века — мистер Харрингтон разыскал могилы своих пращуров на сельском кладбище. Он гордился англо-саксонским происхождением, как, впрочем, и тем, что родился американцем, хотя Америкой считал узкую полоску земли на Атлантическом побережье, а американцами — немногочисленных чистокровных потомков англичан и голландцев.

Немцы, шведы, ирландцы и выходцы из Центральной и Восточной Европы, которые в последние сто лет хлынули в Соединенные Штаты, по разумению мистера Харрингтона, были чужаками. Он не переносил их — так молодая затворница воротит глаза от фабричных труб, которые вдруг выросли под окнами ее кельи.

Как-то раз Эшенден невзначай упомянул в разговоре фамилию весьма состоятельного американца, владельца великолепной коллекции картин, на что мистер Харрингтон отреагировал следующим образом:

— Сам я с ним не знаком. Но сестра моей бабушки, Мария Пенн Уормингтон, говаривала, что его бабушка была отличная стряпуха. Тетушка Мария очень расстроилась, когда она взяла расчет и вышла замуж. Большая была мастерица печь яблочный пирог.

Мистер Харрингтон души не чаял в своей супруге и совершенно извел Эшендена рассказами о ее добродетелях. Из-за слабого здоровья ей пришлось перенести несколько операций, каждую из которых мистер Харрингтон расписал во всех подробностях. Сам мистер Харрингтон подвергся двум операциям — сначала у него удалили железы, а затем аппендикс, и он часами делился с Эшенденом воспоминаниями о своих ощущениях под ножом хирурга. Побывали на операционном столе и все друзья мистера Харрингтона, вследствие чего он обладал поистине энциклопедическими познаниями по части хирургии. У мистера Харрингтона было двое сыновей-школьников и он всерьез подумывал, не пора ли показать их хирургу. Как ни странно, у одного сына были увеличены железы, а что касается второго, то мистеру Харринг-

тону внушал опасения его аппендикс. Братья жить не могут друг без друга, водой что называется не разольешь, а у мистера Харрингтона есть в Филадельфии знакомый врач – светило хирургии, так вот, он обещает прооперировать их в один присест, чтобы мальчики не разлучались.

Мистер Харрингтон показал Эшендену фотографии обоих сыновей и их мамы. Отправляясь в Россию, он впервые оставил их одних и каждое утро сочинял длиннейшее послание супруге с подробным описанием происшествий и доброй половины разговоров прошедшего дня. На глазах у Эшендена мистер Харрингтон исписывал четким каллиграфическим почерком одну страницу за другой.

Мистер Харрингтон перечитал и вызубрил все популярные самоучители ораторской речи. Он не расставался с записной книжкой, в которую заносил услышанные анекдоты, и перелистывал ее всякий раз, отправляясь на званый обед, дабы в случае чего не пришлось лезть за словом в карман. Анекдоты помечались буквами: Д, если их можно было рассказывать при дамах, и М – те, что предназначались для закаленных ушей мужчин. Особое пристрастие мистер Харрингтон питал почему-то к длиннейшим историям с юмористическим концом. Увлечшись, он не знал пощады, и Эшендену, предвидевшему заранее, к чему клонится рассказ, оставалось лишь стискивать пальцы и хмурить брови, чтобы не выдать себя, а под конец выдавливать через силу пустой мрачноватый смешок. Если в это время приходили гости, мистер Харрингтон бывал любезен донельзя:

– Присаживайтесь, пожалуйста. Я тут рассказываю приятелю один забавный случай. Пари держу, вы в жизни не слыхали такой уморительной истории.

И мистер Харрингтон, слово в слово, повторял все с самого начала. Как-то раз Эшенден предложил подыскать двух партнеров – скоротать время за бриджем, но мистер Харрингтон отвечал, что в жизни не прикасался к картам, а когда Эшенден с горя принялся раскладывать пасьянс, скорчил недовольную гримасу.

– Не понимаю, как культурный человек может попусту тратить время за карточной игрой – более никчемное занятие, чем солитэр*, по-моему, придумать трудно. Он отбивает всякую охоту вести беседу. Человек – существо общественное, общение – одно из высших проявлений его социальной природы.

– В пустом времяпровождении есть особый шик, – возразил Эшенден. – Пустить на ветер деньги может любой дурак. Совсем другое дело, когда впустую тратится время – нечто действительно бесценное. Кроме того, – добавил он, – ничто не мешает поддерживать разговор за игрой.

– Какой уж там разговор, если у вас одно в голове: стоит ли крыть восьмерку бубен семеркой пик. Беседа требует от человека максимального напряжения интеллекта, а это значит, что собеседники должны уделять друг другу все свое внимание без остатка.

* Карточная игра. (Здесь и далее – прим. переводчика.)

Сказано это было беззлобно, снисходительно-благодарным тоном умудренного жизнью человека. Мистер Харрингтон как бы констатировал общеизвестную истину, предоставляя Эшендену выбор — согласиться или опровергнуть ее. Подобно художнику, он требовал должного уважения к своему искусству.

Мистер Харрингтон был завзятый книголюб. Читал он, вооружившись карандашом, отчеркивая понравившиеся места и делая аккуратные пометки на полях. Он захватил с собой в дорогу двухтомную историю американской конституции и усердно штудировал ее, попутно перелистывая пухлый сборник речей величайших ораторов всех времен и народов. Мистер Харрингтон слыл салонным Цицероном и прилежно изучал классические наставления по ораторскому искусству. Он отлично знал, как нужно вступать в контакт с аудиторией, когда и где произвести впечатление напускной серьезностью, расшевелить слушателей анекдотом или повернуть при случае глубокомысленную сентенцию.

Мистер Харрингтон был зануда. Эшендена он раздражал, бесил и выводил из себя. Но, странное дело, Эшенден не испытывал антипатии к нему. В его чудовищном апломбе не чувствовался наигрыш, а его ребячья самоуверенность вызывала снисходительную улыбку. И хотя Эшенден с удовольствием задушил бы мистера Харрингтона, в глубине души он готов был простить ему все за компанейский нрав, радушие и доброе сердце. У мистера Харрингтона были несколько чопорные манеры людей его круга, но эту чопорность скрашивало природ-

ное добродушие. Он в любую минуту был готов прийти на помощь ближнему и что называется снять с себя последнюю рубашку. *Serviable** – говорят о таких людях французы. Когда в один из дней Эшенден занемог, мистер Харрингтон ухаживал за ним словно нянька. Он заботливо обхаживал больного, измерял температуру и пичкал его таблетками и микстурами, извлеченными из артистически упакованного чемодана – Эшенден только диву давался. Больше того, мистер Харрингтон не поленился сходить в вагон-ресторан и заказать еду повкуснее, чем окончательно растрогал Эшендена. Он готов был разбиться в лепешку – вот только остановить фонтан своего красноречия не мог никак.

Умолкал мистер Харрингтон лишь при совершении туалета, когда все его непорочные мысли были сосредоточены на одном: как бы переодеться в присутствии Эшендена, не нарушив правила хорошего тона. Щепетилен он был сверх всякой меры. Мистер Харрингтон менял белье каждый день, аккуратно извлекая из чемодана свежую пару и столь же аккуратно складывая в него грязное исподнее. При этом он совершал чудеса изобретательности, дабы, упаси Господь, не обнажить свою брнную плоть. Чистоту в поезде никто не поддерживал, туалет был один-единственный на весь вагон, и Эшенден дня через два-три перестал следить за собой, махнул рукой и к концу недели мало чем отличался от остальных растрепанных и небритых пассажиров. Мистер Харрингтон же и не думал пасовать перед трудностями. Каждое

* Услужливый (франц.).

утро он совершал туалет с величайшим старанием, не реагируя на настойчивые подергивания дверной ручки, и возвращался в купе сияющий и благоуханный. Черный пиджак, брюки в полоску, начищенные штиблеты – мистер Харрингтон как будто сию только минуту вышел за порог своего пригородного кирпичного домика, сейчас подкатит трамвай и помчит его в контору на главной улице Филадельфии. На третьи или четвертые сутки по вагонам объявили, что впереди неспокойно – как будто бы взорвали или пытались взорвать железнодорожный мост у ближайшей станции; может случиться, что состав задержат, а пассажиров высадят или арестуют. Эшенден на всякий случай оделся потеплее – кто знает, вдруг придется зазимовать в Сибири, а мистер Харрингтон даже не притронулся к чемоданам. Посади его в русскую тюрьму, он и там будет держаться щеголем, подумал Эшенден. Подоспела охрана, казаки с заряженными винтовками расположились на подножках, и поезд, постукивая колесами, проехал по поврежденному мосту, а потом машинист поддал пару и сходу проскочил станцию. Когда Эшенден переодевался, мистер Харрингтон поглядывал на его легкий летний костюм с явной насмешкой.

Мистер Харрингтон был человек сметливый и расчетливый, не зря, видно, начальство решило послать его в Россию, думал Эшенден. Интересы фирмы превыше всего – таков был его девиз, и уж когда дело дойдет до заключения контракта, он будет сражаться как лев, можете не сомневаться. Владелец фирмы он буквально боготворил и ни капельки не завидовал их капиталам. Оклад его вполне устраивал – лишь

бы хватило средств дать образование сыновьям да жену обеспечить после смерти, а большего ему и не надобно. В богатстве есть все же что-то мещанское, говаривал он при случае. Культура куда важнее денег. Впрочем, счет деньгам мистер Харрингтон знал и всякий раз после обеда аккуратно заносил расходы в записную книжечку. Можно было смело держать пари, что он лишнего цента не потратит за казенный счет. На станциях к вагону подходили нищие и просили милостыню. Когда мистер Харрингтон удостоверился, что пустила их по миру война, он начал припасать полные карманы мелочи и с конфузливим видом раздавал все до копейки.

— Знаю, знаю, нечего баловать их, — ворчал он, — да меня другое заботит. Главное, чтобы душа была спокойна. Ведь, если голодный просит, как не подать? Потом совесть замучит.

При всех своих причудах мистер Харрингтон был симпатяга. Наглубить ему язык не поворачивался — все равно что поднять руку на малого ребенка, — и Эшенден, чертыхаясь про себя, с покорностью и истинно христианским смирением терпел ниспосланное ему в наказание общество этого милого и безжалостного существа. По тогдашним временам дорога из Владивостока в Петроград заняла одиннадцать дней, и Эшенден чувствовал, что терпение его на исходе. Еще день — и он задушил бы мистера Харрингтона.

— Подумать только, как незаметно пролетели эти одиннадцать дней! — говорил мистер Харрингтон Эшендену, когда поезд наконец приблизился к петроградским окраинам и они,

стоя у окна, разглядывали скопища городских зданий (Эшенден измочаленный и небритый, мистер Харрингтон – опрятный, подтянутый и сыплющий афоризмами). – Ваше общество было для меня исключительно приятно, надеюсь, как и мое для вас. Знаю, есть за мной грех, люблю поговорить. Но раз уж судьба столкнула нас, надо держаться вместе. Давайте и в Петрограде видаться почаще.

– Я буду сильно занят, – сказал Эшенден, – и вряд ли смогу выкроить время.

– Понимаю вас, – бодро подхватил мистер Харрингтон, – я сам буду мотаться по делам, но ведь можно завтракать вместе, а по вечерам обмениваться впечатлениями. Будет ужасно обидно, если мы разлетимся в разные стороны.

– Ужасно обидно, – вздохнул Эшенден.

Любовь и русская литература

Впервые за много дней уединившись в четырех стенах, Эшенден огляделся. Распаковываться не было сил. Он давно потерял счет номерам отелей-люкс и мебелирашек в доброй дюжине стран, куда швыряла его война. Сидение на чемоданах стало образом жизни. Усталость брала свое. Эшенден попытался прикинуть, с какого конца лучше взяться за порученное дело. Необъятность российских просторов подействовала на него угнетающе и нагнала тоску. А ведь он отказывался от этого поручения, предупреждал, что не справится – его не послушали. Выбор пал на него не потому, что он был самым подходящим кандидатом, а потому, что другого подходящего кандидата не было. В дверь

постучали, Эшенден ответил по-русски, с удовольствием выговаривая несколько знакомых слов. Дверь распахнулась, он проворно вскочил на ноги.

– Входите, входите! Страшно рад вас видеть!

Всех троих гостей – двух молодых мужчин и одного постарше – Эшенден знал в лицо, они проделали путь из Сан-Франциско в Иокोगаму на пароходе вместе с ним, но, следуя инструкции, держались поодаль. Все трое, эмигранты-чехи, высланные из Австро-Венгрии за революционную деятельность, давно обосновались в Америке, а теперь их отправили в Россию помочь Эшендену наладить связь с профессором Z, который пользовался в чешском землячестве непререкаемым авторитетом. Главным из троих был сухопарый и седовласый проповедник со Среднего Запада Эгон Орт, доктор богословия, оставивший амвон ради борьбы за освобождение родины. Духовный пастырь, посвятивший себя служению какой-либо идее, обладает перед мирянами тем преимуществом, что в этом служении видит перст Божий. На Эшендена доктор Орт произвел впечатление человека весьма неглупого, хотя и не слишком разборчивого в средствах. Он был порядочный остролов и на собеседника поглядывал не без лукавства.

Из двух разговоров наедине с доктором Ортом в Иокोगаме Эшенден выяснил, что профессор Z при всем своем патриотизме и безусловной преданности Антанте, без которой, как он прекрасно понимал, нечего и думать о разгроме Центральных держав и освобождении от австрийского ига, был человеком щепетильным, не привыкшим поступать против совести. Дела, по его понятиям, должны делаться открыто, по-

джентльменски. Эшенден поэтому счел, что в некоторые детали его посвящать не стоит. Профессор Z весьма влиятельная фигура, с его мнением придется считаться, но все-таки пусть уж он кое о чем останется в неведении — такого же мнения придерживался и доктор Орт.

Доктор Орт приехал в Петроград неделей раньше Эшендена и теперь ознакомил его с обстановкой. Эшенден заключил, что положение критическое и действовать необходимо без проволочек. Русская армия бурлит, Керенский слаб, Временное правительство может рухнуть в любую минуту и удерживает власть лишь потому, что никто посмелее пока не захватил ее, надвигается голод, и, кроме всего прочего, в любой момент того и гляди начнется немецкое наступление на Петроград. Британского и американского послов предупредили о приезде Эшендена заранее, но даже от них его миссию держали в секрете, и по ряду причин он не мог рассчитывать на их помощь. Эшенден попросил доктора Орта условиться с профессором Z о свидании — он хотел узнать, как тот оценивает ситуацию, и поставить его в известность о своем задании: любыми средствами предотвратить катастрофу, которой опасались державы Антанты — заключение Россией сепаратного мира. Чтобы справиться с этим заданием, потребуется завязать связи среди влиятельных лиц в различных слоях общества, размышлял про себя Эшенден. Мистер Харрингтон привез рекомендательные письма к министрам, он будет вращаться в правительственных сферах. Ему нужен переводчик. Доктор Орт владеет русским языком почти как родным и с ролью переводчика должен справиться отлично. Эшенден

посвятил его в свой план и они договорились: доктор Орт появится в ресторанном зале перед завтраком, сделает вид, будто случайно узнал Эшендена, и будет мистеру Харрингтону представлен; а уж Эшенден повернет разговор в нужную сторону и постарается внушить мистеру Харрингтону, что сам Господь Бог послал ему такого идеального помощника.

Было на примете у Эшендена и другое лицо.

– Скажите, не знаете ли вы случайно одну даму – Анастасию Александровну Леонидову, дочь Александра Денисьева? – поинтересовался он.

– Денисьев – личность известная.

– Насколько я знаю, она сейчас в Петрограде. Нельзя ли навести справки, где она живет и чем занимается?

– Можно постараться.

Доктор Орт заговорил с одним из своих спутников по-чешски. Как понял Эшенден, оба они – высокий блондин и низенький брюнет – состояли при нем для поручений. Чех, к которому обратился доктор Орт, встал, пожал Эшендену руку и вышел из номера.

– Всю информацию вы будете иметь в середине дня.

– Что ж, тогда на этом закончим, – промолвил Эшенден. – А сейчас скорее в ванну. Одиннадцать дней мечтаю о мыле и губке.

На вопрос, где ему думается лучше – в вагоне поезда или в ванне, Эшенден не смог бы сразу дать определенный ответ. Коль скоро требовалось изобрести план действий, предпочтения, пожалуй, заслуживал не слишком быстрый поезд – множество отличных идей возникло у Эшендена под перестук колес в поезд–

ках по Франции; для сладостных же воспоминаний, для любовного плетения кружев по канве былого, лучшего места, чем горячая ванна, не сыскать. И теперь, нежась в мыльной пене, подобно буйволу в илистом пруду, Эшенден с мрачным наслаждением мысленно перебирал подробности своих отношений с Анастасией Александровной Леонидовой.

До сих пор мы лишь мимоходом упоминали о том, что и Эшендену случалось испытывать страсть, которую в шутку называют нежной. Знатоки этого вопроса, милые создания, сделавшие своим промыслом то, что философы считают отклонением от нормы, утверждают, будто писатели, художники и музыканты, короче, люди искусства, по части любви совсем не титаны. Пыла, дескать, у них много, а вот дел — кот наплакал. Они, конечно, умеют вздыхать и изливать свои чувства, клясться в любви до гроба и изображать страсть, но поскольку больше всего на свете они обожают искусство и самих себя (что для них одно и то же), то сникают всякий раз, когда предмет их обожания, с чисто женским практицизмом, припирает их к стенке. Вероятно, знатоки правы, и не потому ли женщины в глубине души люто ненавидят искусство. Как бы там ни было, за последние двадцать лет Эшендену довелось испытать немало бурных увлечений. Он покориł не одно сердце, но и ему наносили глубокие сердечные раны. Впрочем, даже в самые трудные минуты, терзаясь от неразделенного чувства, Эшенден утешал себя с кислой гримасой мыслью о том, что любовь требует жертв.

Анастасия Александровна Леонидова происходила из семьи русского революционера, со-

сланного на вечное поселение в Сибирь, который из Сибири бежал, уехал за границу и поселился в Англии. Человек незаурядный, обладавший бойким пером, он тридцать лет зарабатывал на жизнь сочинительством и создал себе репутацию в английском литературном мире. Когда пришла пора выходить замуж, Анастасия Александровна стала супругой Владимира Семеновича Леонидова, другого русского эмигранта. Эшенден познакомился с ней через несколько лет после их свадьбы. То было время, когда европейцы открыли для себя Россию. Публика зачитывалась русскими романами, русский балет гремел по всему цивилизованному миру, русская музыка щекотала нервы меломанов, пресытившихся Вагнером. Русское искусство хлынуло в Европу подобно эпидемии инфлюэнцы. В моду вошли новые словечки, новые понятия, новые краски, эстеты, не моргнув глазом, стали называть себя "интеллигенцией". У этого слова было трудное написание, но выговаривалось оно легко. Эшенден поддался всеобщему увлечению, сменил кушетки в гостиной, повесил на стену икону, начал зачитываться Чеховым и зачастил в балет.

По своему происхождению, биографии и образованию Анастасия Александровна принадлежала к самой что ни на есть коренной интеллигенции. В маленьком домике поблизости от Риджент-парка, где она обитала вдвоем с мужем, собиралась вся лондонская литературная братия и почтительно оглядывала подпиравших стены бледных бородатых молодцев, похожих на получивших увольнительную атлантов — все они были сплошь революционеры, чудом избежавшие сибирской каторги и ссылки. Литера-

турные дамы с замиранием сердца пригубляли водку в стаканах. Отдельным счастливчикам, по большой протекции хозяйки дома, иногда случалось пожать руку Дягилеву; словно пушок персика, подхваченный легким дуновением ветерка, мелькала на этих ассамблеях сама Анна Павлова и так же грациозно исчезала.

Успехи Эшендена на литературном поприще в ту пору еще не шокировали эстетов, среди которых он вращался по молодости лет, и хотя вслед ему уже бросали косые взгляды, многие неисправимые оптимисты продолжали возлагать на него надежды. Анастасия Александровна при всех заявила, что Эшенден – интеллигент, и он готов был поверить этому. Впрочем, он готов был тогда поверить чему угодно. Душа его пела и ликовала. Наконец-то, казалось, пришло к нему то возвышенное чувство, о котором он так долго мечтал. У Анастасии Александровны были красивые глаза, хорошо развитые, хотя по меркам тогдашней моды и чересчур пышные, формы, скуластое лицо и курносый нос – вылитая татарка, – крупный рот, крепкие здоровые зубы и бледная кожа. Одевалась она довольно экстравагантно. В ее карих задумчивых глазах Эшендену почудились бескрайние русские степи, Кремль с колокольным перезвоном, пасхальная заутреня в Исаакиевском соборе, белоствольные березовые рощи и Невский проспект; многое, удивительно многое, почудилось ему в этих глазах. Глаза были круглые, блестящие, слегка навывкате, как у китайского мопса. Анастасия Александровна и Эшенден вели беседы об Алеше Карамазове и Наташе Ростовской, об "Анне Карениной" и "Отцах и детях".

Эшенден очень скоро понял, что муж Анастасии Александровны ей не пара и что она сама знает это. Владимир Семенович Леонидов, тщедушного вида мужчина с непокорным русским вихром на стручкообразном черепе, держался скромно и незаметно. Внешне он мало чем напоминал опасного бунтовщика, наводившего страх на царское правительство. Владимир Семенович зарабатывал уроками русского языка и писанием статей для московских газет. Анастасия Александровна была темпераментная дама и только благодаря мягкому и покладистому нраву супруга ее эмоции — при приступах ли зубной боли или порывах сочувствия многострадальной матушке-России — не перехлестывали через край. Эшенден по-своему даже привязался к тишайшему Владимиру Семеновичу, и поэтому, когда произошло его объяснение с Анастасией Александровной и выяснилось, что она отвечает ему взаимностью, возник вопрос, как быть. Хотя они теперь и дня не могли прожить друг без друга, Эшенден, зная о ее революционных идеях, сомневался, захочет ли она выйти за него замуж. К его радости и облегчению, она охотно согласилась.

Эшенден сидел на кушетке, откинувшись на подушки цвета несвежего сырого мяса, и, держа руку Анастасии Александровны в своей, спрашивал:

— Вы думаете, Владимир Семенович даст согласие на развод?

— Владимир обожает меня. Наш разрыв его доконает.

— Он симпатичный человек, я ничего против него не имею. Надеюсь, у него хватит сил...

– И совершенно напрасно надеетесь. Вы плохо знаете русских. Он пропадет без меня. В жизни не видела мужчину, влюбленного до такой степени. Владимир – натура благородная, он не будет мешать моему счастью. Какие могут быть колебания, если речь идет о моем духовном развитии. Конечно, он даст мне свободу.

В те времена бракоразводные законы были еще более сложны и запутаны, чем теперь, и Эшенден на всякий случай объяснил Анастасии Александровне некоторые особенности британского судопроизводства. Она ласково коснулась его руки.

– Владимир не допустит, чтобы мое имя трепали в суде. Когда я объявлю, что собираюсь за вас замуж, он покончит с собой.

– Это ужасно! – воскликнул Эшенден.

Он был ошеломлен и одновременно заинтригован. Все происходящее сильно напоминало русский роман, и перед ним одна за другой мелькали волнующие, леденящие душу страницы, на которых пером Достоевского была запечатлена эта трагическая история. Страдания героев, разбитые бутылки шампанского, поездки к цыганам, водка, обмороки, нервные припадки и бесконечные объяснения. Это было жутко, трепетно и восхитительно.

– Мы будем страдать, ужасно страдать, – продолжала между тем Анастасия Александровна, – но что же Владимиру остается делать? Уговаривать его расстаться со мной бесполезно. Ведь он совсем не приспособлен к жизни, без меня он совершенно беспомощен, я это прекрасно знаю. Он покончит с собой.

- Каким способом? - не удержался Эшенден, в котором была сильна страсть писателя-реалиста к конкретным деталям.

- Пустит пулю в лоб.

Эшендену вспомнился "Росмерсхольм" Ибсена, которым он одно время увлекался - подумывал даже заняться норвежским языком, чтобы читать творения прославленного драматурга в подлиннике и прозреть их сокровенный смысл. Однажды ему посчастливилось увидеть своего кумира в мюнхенском пивном баре.

- Вы думаете, мы сможем наслаждаться счастьем, имея на совести эту смерть? - не унимался Эшенден. - Предчувствую, что она всегда будет стоять между нами.

- Мы поплатимся, жестоко поплатимся, я знаю, - отвечала Анастасия Александровна, - но что же делать? Такова жизнь. А о Владимире нужно подумать, у него тоже есть право на счастье. Но нашего разрыва он не перенесет.

Она отвернулась, и Эшенден заметил на ее щеках слезы. Он и сам растрогался чуть не до слез. Ему уже мерещился труп несчастного Владимира в луже крови, с простреленной головой.

С ума можно сойти от этих русских!

Овладев собой, Анастасия Александровна обернулась к Эшендену. Ее круглые глаза с поволокой испытующе уставились на него.

- Мы должны быть абсолютно уверены, что другого выхода нет. Никогда не прощу себе, если жертва Владимира будет напрасной. Мы обязаны испытать наши чувства.

- Вы сомневаетесь в моих чувствах? - воскликнул Эшенден глухим срывающимся голосом.

– Знаете что? Давайте-ка съездим на неделю в Париж и посмотрим, хорошо ли нам вдвоем. Тогда и решим.

Эшенден, воспитанный чуточку на старомодный лад, смутился. Эта секундная заминка не укрылась от зоркого oka Анастасии Александровны. Реакция у нее была великолепная.

– У вас ведь нет мещанских предрассудков?

– Что вы, конечно, нет, – поспешил заверить Эшенден, который охотнее согласился бы прослыть прохиндеем, чем человеком с мещанскими предрассудками. – По-моему, превосходная идея.

– Сколько женщин загубили свою жизнь из-за одного, единственного опрометчивого шага, а разве это справедливо? Чтобы раскусить мужчину, нужно пожить с ним под одной крышей. Дайте женщине последний шанс еще раз все переиграть.

– Совершенно верно, – поддакнул Эшенден.

Анастасия Александровна слов на ветер не бросала, и в следующую же субботу, после недолгих сборов, они отправились в Париж.

– Я ничего не сказала Владимиру о нашей поездке – зачем будоражить его понапрасну, – призналась Анастасия Александровна перед отъездом. – Если в конце недели выяснится, что я ошиблась в своих чувствах, пусть все останется между нами.

– Да, лучше без лишних волнений, – согласился Эшенден.

Они встретились на вокзале Виктория.

– В какой класс вы взяли билеты? – поинтересовалась Анастасия.

– В первый.

– Чудесно. Отец и Владимир из принципа ездят третьим классом, а меня в дороге всегда

укачивает, я люблю устроиться поудобней, чтобы можно было опереться на чье-нибудь плечо. В первом классе это сделать проще.

Едва поезд тронулся, Анастасия Александровна объявила, что у нее кружится голова, сняла шляпку и прильнула к плечу Эшендена. Он обнял ее за талию.

– Не двигайтесь, пожалуйста, – пролепетала она.

Когда пересели на паром, Анастасия Александровна удалилась в дамскую каюту, а за обедом в Кале у нее разыгрался аппетит. В купе парижского экспресса она снова сняла шляпку и положила голову на плечо Эшендена. Ему захотелось почитать и он потянулся за книгой.

– Пожалуйста, не читайте, ладно? – попросила Анастасия Александровна. – Лучше обнимите меня. Когда вы переворачиваете страницы, мне не по себе делается.

Наконец добрались до Парижа и отправились в маленькую гостиницу на левом берегу Сены, где Анастасия Александровна прежде останавливалась. Атмосфера там, уверяла она, самая подходящая. А о всех этих огромных шикарных отелях на правом берегу и думать не стоит – одна сплошная безвкусица, мещанам на потребу.

– Готов следовать за вами куда угодно, лишь бы в номере была ванная, – сказал Эшенден.

Анастасия улыбнулась и ущипнула его за щеку.

– Вы – прелесть, настоящий англичанин. Одну неделю не можете прожить без ванной. Ми-

лый мой, вам предстоит ко многому привыкнуть.

До поздней ночи они проговорили о Максиме Горьком и Карле Марксе, о судьбе, о любви, о человеческом братстве, без конца пили чай, и если бы не Анастасия Александровна, Эшенден охотно провалялся бы в постели до обеда, но она любила вставать чуть свет. Жизнь коротка, нужно многое успеть, грешно садиться к столу позднее половины девятого. Их поселили в крохотном невзрачном номере, который одно время приспособили было под столовую и не проветривали, наверное, добрый месяц. Атмосфера, в самом деле, была особенная, ничего не скажешь. Сели завтракать, и Эшенден осведомился, что Анастасия Александровна желала бы заказать.

– Яичницу.

Завтрак Анастасия Александровна уплетала за обе щеки. Эшенден давно уже приметил, что она не страдает отсутствием аппетита. Чисто русское свойство, решил он, – разве могла бы, скажем, Анна Каренина вместо обеда обойтись сладкой булочкой и чашкой кофе?

После завтрака отправились осматривать Лувр, потом Люксембургский дворец. Пообедали загодя, чтобы не опоздать на представление "Комеди франсэз", а после спектакля поехали в русское кабаре. Когда утром следующего дня, в половине девятого, пошли завтракать и Эшенден спросил, что Анастасия Александровна хотела бы заказать, она ответила: яичницу.

– Но ведь мы же вчера ели яичницу.

– Будем есть и сегодня.

– Яичницу так яичницу.

Этот день провели на манер предыдущего, с той разницей, что вместо Лувра побывали в Карнавале, а вместо Люксембургского дворца — в музее Гиме. Когда на утро третьего дня Анастасия Александровна снова пожелала съесть яичницу, Эшенден похолодел.

— Мы ели яичницу вчера и позавчера.

— Тем более, почему бы не съесть ее и сегодня.

— Не вижу логики.

— Мне кажется, чувство юмора вам изменяет. Я всегда ем на завтрак яичницу.

— Раз так, тогда, конечно, будем есть яичницу.

На четвертое утро его терпение лопнуло.

— Сегодня опять яичница?

— Разумеется, — мило улыбнулась Анастасия Александровна, обнажая два ряда крупных зубов.

— Прекрасно. Для вас заказываю яичницу, а себе — омлет.

Улыбка сошла с лица Анастасии Александровны.

— Ах, вот как. Не кажется ли вам, — произнесла она, помолчав, — что это бестактность? Милосердно ли задавать лишнюю работу повару? Все-то вы, англичане, одинаковы — привыкли относиться к слугам как к машинам, а они ведь живые люди. Чего же удивляться, что пролетариат бурлит, если буржуазия проявляет такой чудовищный эгоизм?

— Неужели оттого, что я в Париже съем омлет, а не яичницу, в Англии произойдет революция? Вы это серьезно говорите?

Анастасия Александровна возмущенно тряхнула очаровательной головкой.

- Как вы не понимаете - дело в принципе. Вам бы все шуточки шутить. У меня ведь тоже есть чувство юмора. Кстати, Чехов был первоклассным юмористом. Неужели нужно объяснять, что поставлено на карту? Душа у вас не болит - вот в чем дело. Пережили бы вы девятьсот пятый год в Петербурге - по-другому рассуждали бы. А у меня до сих пор перед глазами толпа на снегу возле Зимнего дворца, женщины, дети и против них казаки с винтовками. Нет, не могу!

На глазах у Анастасии Александровны вернулись слезы, лицо искривилось от боли. Она взяла Эшендена за руку.

- Я знаю, сердце у вас доброе, вы сказали, не подумав. Давайте забудем об этом. Я же вижу, вы натура тонкая, творческая. А яичницу будем есть вместе, правда?

- Конечно, - сдался Эшенден.

С того дня он каждое утро исправно съедал за завтраком яичницу. *Monsieur aime les oeufs brouillés**, говорила официантка. В конце недели они вернулись в Лондон. По дороге от Парижа до Кале и от Дувра до Лондона Эшенден обнимал Анастасию Александровну за талию, ее головка покоилась на его плече. В уме он прикидывал: от Нью-Йорка до Сан-Франциско пять дней пути. Когда приехали на Виктория-стейшен и вышли к кабриолетам, Анастасия Александровна подняла свои круглые сияющие глаза с поволокой.

- Дивно мы съездили, правда?

- Замечательно.

* Месье любит яичницу (франц.).

– Ну вот, испытание выдержано. Я согласна выйти за вас, как только вы пожелаете.

Придется каждое утро есть яичницу до самой смерти, подумал Эшенден. Он усадил Анастасию Александровну в кэб, окликнул другого кэбмана и, сойдя у компании Кунард, заказал билет на первый американский рейс. Едва ли хотя бы один из миллионов эмигрантов, одержимых мечтами о счастье и новой жизни, ликовал при виде Статуи Свободы так, как ликовал Эшенден, когда погожим солнечным днем пароход вошел в нью-йоркскую гавань.

Непостиранное белье мистера Харрингтона

С тех пор прошло несколько лет, пути Эшендена и Анастасии Александровны разошлись. Он слышал, что после Февральской революции она и Владимир Семенович в марте семнадцатого года возвратились в Россию. Как знать, может быть, они согласятся помочь – ведь Владимир Семенович в некотором роде обязан ему жизнью, подумал Эшенден и решил послать Анастасии Александровне записку с просьбой о свидании.

Спускаясь утром по лестнице, он чувствовал прилив сил. Мистер Харрингтон поджидал его, они устроились за столиком и приступили к завтраку.

– Попросите принести хлеба, – сказал мистер Харрингтон.

– Хлеба? – переспросил Эшенден. – Хлеба нет.

– Я не привык есть без хлеба.

- Боюсь, придется привыкать. Хлеба нет. Масла, сахара, яиц и картошки - тоже. Только рыба, мясо и овощи.

У мистера Харрингтона отвисла челюсть.

- Вот оно, значит, что такое война.

- Похоже на то.

Мистер Харрингтон притих, а потом сказал:

- Я вот что думаю: нужно поскорее заканчивать дела и убраться отсюда. Подумать только, нет сахара и масла! Знала бы миссис Харрингтон, как я тут питаюсь. Мой организм не выносит грубой пищи. Фирме гарантировали обслуживание по высшему разряду, иначе меня не послали бы сюда.

Немного погодя появился доктор Орт и подал конверт с адресом Анастасии Александровны. Эшенден поспешил представить и отрекомендовать его мистеру Харрингтону.

- Доктор Орт владеет русским языком как родным и, кроме того, он американский гражданин, так что не подведет. Мы знакомы много лет, я ручаюсь за него как за самого себя.

Доктор Орт произвел на мистера Харрингтона самое благоприятное впечатление и после завтрака Эшенден оставил их вдвоем. Анастасии Александровне он написал записку, на которую вскоре получил ответ: днем она занята на совещании, а вечером, часам к семи, заедет в гостиницу. Он с волнением ожидал ее прихода. Теперь-то Эшенден понимал, что влюблен он был не в Анастасию Александровну, а в Толстого, Достоевского, Римского-Корсакова, Стравинского и Бакста, но поняла ли это она? Анастасия Александровна появилась в девятом часу, и Эшенден предложил поужинать за компанию с мистером Харрингтоном. Он рассудил,

что присутствие третьего лица поможет сгладить неловкость при встрече; впрочем, сия предосторожность оказалась излишней. Прежде чем был доеден суп, Эшенден убедился, что охлаждение между ним и Анастасией Александровной было взаимным. Его больно кольнуло. Равнодушие бывшей возлюбленной, которая в минувшие дни дышала одним тобой, обидно для любого, даже и не слишком самолюбивого мужчины. Эшенден, конечно, понимал, что вряд ли Анастасия Александровна будет сохнуть по нему пять лет, но все же ожидал хотя бы намек на прежние чувства – легкого румянца, движения губ или бровей. Ничуть не бывало. Анастасия Александровна держалась приветливо, по-светски, как будто они расстались всего несколько дней назад. Эшенден осведомился о Владимире Семеновиче.

– Горе мне с ним, – ответила Анастасия Александровна. – Большим умом он никогда не отличался, но я всегда считала его порядочным человеком. У него скоро будет ребенок.

Мистер Харрингтон подцепил вилкой кусок рыбы да так и застыл, оторопело выпучив глаза. В его оправдание следует сказать, что за всю жизнь он не прочел ни одного русского романа. Недоумевал и Эшенден.

– Ребенок не от меня, – проговорила смеясь Анастасия Александровна. – Меня эти дела не волнуют. Мать ребенка – известная экономистка, моя подруга. Я не сторонница ее теорий, но рациональное зерно в них есть. Светлая голова, да, светлая голова. А вы не увлекаетесь политэкономией? – обратилась она у мистеру Харрингтону.

Едва ли не впервые в жизни мистер Харрингтон лишился дара речи. Анастасия Александровна высказала свои взгляды на эту дисциплину, после чего разговор зашел о положении дел в России. Оказалось, что Анастасия Александровна хорошо знает лидеров нескольких политических партий, и Эшенден решил прощупать, не согласится ли она действовать заодно с ним. Любовь любовью, а женщина она в высшей степени толковая. Сказав, что им нужно переговорить по делу, Эшенден после ужина отвел Анастасию Александровну в дальний конец залы и посвятил в некоторые детали. Анастасия Александровна загорелась и предложила свою помощь. Авантюрная жилка всегда была в ней сильна. Эшенден намекнул на свои внушительные финансовые возможности, и Анастасия Александровна сразу сообразила, что перед ней открывается дорога в большую политику. Такая перспектива льстила ее тщеславию. Мой собственный взлет послужит благу отечества – это убеждение она разделяла со многими другими ярыми патриотами. На прощание Эшенден и Анастасия Александровна в принципе обо всем договорились.

– Какая замечательная женщина! – не удержался от комплимента за завтраком мистер Харрингтон.

– Смотрите, а то еще влюбитесь чего доброго, – улыбнулся Эшенден.

– После свадьбы я перестал смотреть на женщин, – отпарировал шутку мистер Харрингтон с глубокомысленным видом. – Муж этой женщины, как видно, дурной человек.

– А я сейчас не отказался бы от яичницы,

— машинально произнес Эшенден, когда им подали пустой чай.

С помощью Анастасии Александровны и доктора Орта, который оставался в тени, он приступил к делу. Положение в России день ото дня ухудшалось. Премьер Временного правительства Керенский, снедаемый неимоверным честолюбием, пачками увольнял министров, в которых видел опасных конкурентов. Он произносил множество речей. Немцы подступили чуть ли не к самому Петрограду — Керенский произносил речи. Начались перебои с продовольствием, на носу была зима, не хватало топлива — Керенский произносил речи. Зашевелились большевики, Ленина видели в Петрограде, передавали, что Керенский знал, где тот скрывается, но арестовать его не решался. Он всё произносил речи.

Эшенден поражался полнейшему безразличию мистера Харрингтона к происходящему. На их глазах творилась история, а коммивояжер-американец ничем не интересовался, кроме своего бизнеса. Дело подвигалось туго. Приходилось давать взятки секретарям и мелким чиновникам — без этого, уверяли его, нельзя добиться аудиенции у влиятельных персон. Мистер Харрингтон часами просиживал под дверями кабинетов, а в конце дня его бесцеремонно выпроваживали вон. Когда же удавалось прорваться на прием, влиятельные персоны отделялись пустыми обещаниями. Обещания эти, как потом выяснилось, не стоили выеденного яйца. Эшенден советовал мистеру Харрингтону плюнуть на все и уехать в Америку, но тот и слышать ничего не желал: фирма послала его с поручением, и он, чёрт

побери, это поручение выполнит во что бы то ни стало. Потом его взяла под свою опеку Анастасия Александровна и между ними завязалась трогательная дружба. Мистер Харрингтон от всей души сочувствовал этой необыкновенной и такой несчастной женщине, рассказывал ей о своей жене и детях, а заодно и о конституции Соединенных Штатах; она рассказывала ему о Владимире Семеновиче, а заодно о Толстом, Тургеневе и Достоевском. Они упились обществом друг друга. Так как выговорить имя Анастасии Александровны мистеру Харрингтону было не под силу, он звал ее Далилой. Она с жаром взялась за его дела и они начали вдвоем наносить визиты разным полезным лицам. Тем временем развязка приближалась. Все чаще вспыхивали беспорядки, выходить на улицу стало небезопасно. Вдоль Невского проспекта на бешеной скорости проносились броневики, в них сидели злые и усталые солдаты запасных полков и, вымещая раздражение, наобум палили по прохожим. Как-то раз по трамваю, в котором ехали мистер Харрингтон и Анастасия Александровна, полоснула пулеметная очередь – пассажиры, словно подкошенные, попадали на пол. Мистер Харрингтон очень возмущался.

– Какая-то толстуха совсем меня придавила, пытаюсь повернуться, а она, – коммивояжер взглянул на Анастасию Александровну, – бац меня по уху: не шевелись, говорит, дурак! Ох, уж эти ваши русские замашки, Далила!

– Но ведь вы же послушались, – прыснула Анастасия Александровна.

– В этой стране слишком много искусства, а вот цивилизации не хватает.

- Вы не интеллигент, мистер Харрингтон. Так рассуждают мещане.

- Первый раз слышу, Далила. Такого интеллигента, как я, еще надо поискать, - с достоинством возразил мистер Харрингтон.

В один из следующих дней Эшенден до самого вечера не выходил из номера. Раздался стук и на пороге, прямая и решительная, выросла Анастасия Александровна, позади нее переминался мистер Харрингтон. Она была заметно взволнована.

- Что-нибудь случилось? - спросил Эшенден.

- Подействуйте на мистера Харрингтона - он должен уехать, иначе его здесь убьют. Бог знает, чем бы все кончилось, не окажись я рядом.

- Далила, не преувеличивайте, - запротестовал мистер Харрингтон. - Ничего страшного, когда нужно, я за себя постоять сумею.

- Расскажите же, в чем дело, - повторил Эшенден.

- Повезла я мистера Харрингтона в Невскую лавру на могилу Достоевского, - начала Анастасия Александровна. - Возвращаемся назад в пролетке и видим: какой-то солдат пристает к пожилой женщине.

- Пристает не то слово, - перебил ее мистер Харрингтон. - Дело было так: идет по тротуару старушка с корзинкой. Сзади к ней подходят два солдата, один хватает корзинку - и ходу. Старушка - в крик. Не знаю, что она кричала, только второй солдат как замахнется и прикладом её по голове. Верно я рассказываю, Далила?

– Верно, – улыбнулась Анастасия Александровна. – Я опомниться не успела, как мистер Харрингтон прыг с пролетки и к солдату. Вырвал корзинку и давай его честить. Грабители вы, кричит. Солдаты сначала оторопели, а потом опомнились, вот-вот вцепятся в него. Тут я подбегаю. Не обращайтесь, говорю, внимания, он иностранец, да еще выпивши.

– Я – выпивши?

– Конечно, вы, кто же еще. Ну, понятно, толпа собралась. Вижу, дело дрянь.

– А я-то решил, Далила, что вы задали им перцу, такая сцена была, прямо как в театре, – сверкнул глазами мистер Харрингтон.

– Перестаньте дурачиться! – неожиданно топнула ногой Анастасия Александровна. – Вы понимаете, что нас с вами могли застрелить за милую душу – никто бы даже и не пикнул.

– Меня? Застрелить? Я американский гражданин, Далила. Они волоска на моей голове не посмели бы тронуть.

– Сначала этот волосок нужно найти, – отрезала Анастасия Александровна; под горячую руку она, случалось, забывала о хороших манерах. – Думаете, русские солдаты посмотрят, что вы американский гражданин? Боюсь, вас ожидают малоприятные сюрпризы.

– Чем же кончилось дело с этой женщиной? – вмешался в их пикировку Эшенден.

– Когда солдаты ушли, мы ее подняли на ноги.

– Корзинку-то не отдали?

– Нет, мистер Харрингтон вцепился в нее мертвой хваткой. Всю голову старушке разбили, крови натекло – ужас. Усадили ее в пролетку, узнали адрес и отвезли домой. Везем,

а кровь у нее из раны так и хлещет, насилу смогли унять.

Анастасия Александровна покосилась на мистера Харрингтона, который, к удивлению Эшендена, залился краской.

– Еще что-нибудь приключилось?

– Видите ли, бинта под рукой не оказалось, носовой платок мистера Харрингтона весь набух от крови. Что тут будешь делать? Тогда я сняла с себя...

– Совсем не обязательно рассказывать, что именно вы с себя сняли, – перебил Анастасию Александровну на полуслове мистер Харрингтон.

– Я женатый человек и знаю – дамы носят эти предметы туалета, но не вижу необходимости упоминать о них в обществе.

Анастасия Александровна хихикнула.

– Поцелуйте меня, мистер Харрингтон, тогда не скажу.

Мистер Харрингтон с минуту колебался, как будто взвешивая "за" и "против", и видя, что Анастасия Александровна настроена решительно, произнес:

– Так уж и быть, Далила, можете поцеловать меня, хотя, честно говоря, не вижу, какое вам от этого удовольствие.

Она обняла его и расцеловала в обе щеки, а потом всплакнула.

– Вы молодчина, мистер Харрингтон, дурень вы мой милый, – всхлипывала Анастасия Александровна.

Мистер Харрингтон не смутился. Он поглядывал на Анастасию с тонкой загадочной улыбкой и осторожно похлопывал ее по плечу.

– Успокойтесь, Далила, возьмите себя в руки. Вы переволновались, бедняжка. Ну, пере-

станьте же, у меня все плечо мокрое, еще ревматизм заработаю.

Сцена была комическая и трогательная.

Эшенден рассмеялся, но почувствовал комок у горла.

Когда Анастасия Александровна вышла, мистер Харрингтон долго молчал.

– Удивительный народ, эти русские, – проговорил он наконец. – Знаете, что сделала Далила? В пролетке, посреди улицы, при народе, сняла с себя трико и начала рвать его на бинты. Никогда я не был так шокирован.

– Почему вы называете ее Далилой?

– Анастасия – необыкновенная женщина, и такая несчастная, ей можно только посочувствовать. Русские эмоциональны по натуре, я постарался дать понять, что питаю чисто дружеские чувства. Кроме того, она знает, как сильно я привязан к миссис Харрингтон.

– Жenu Потифара* тоже звали Далилой – уж не намек ли это?

– Не понимаю, о чем вы. Хотя миссис Харрингтон и убеждена, что женщины от меня без ума, я решил называть нашу приятельницу Далилой безо всякой задней мысли.

– Мистер Харрингтон, – улыбнулся Эшенден, – в России вам делать нечего. Послушайте добрый совет – уезжайте как можно скорее.

– Я не могу сорваться с места сию минуту. Мои условия приняты, через неделю будет

* Согласно библейской книге Бытия, Потифар был начальником стражи египетского фараона, в рабство которому продали Иосифа его братья. Жена Потифара, прельщенная красотой Иосифа, пыталась соблазнить его.

подписан контракт. И тогда я выеду в два счета.

– Боюсь, что подписи под этим контрактом не стоят клочка бумаги, – проговорил Эшенден.

В голове у него, наконец, созрел план действий. Сутки он потратил на шифровку телеграммы, в которой излагал свою идею. План одобрили и ему были обещаны неограниченные кредиты. Эшенден понимал, что рассчитывать на успех можно, если Временное правительство продержится хотя бы три месяца; приближалась зима, запасы продовольствия таяли с каждым днем. Армия волновалась, народ требовал мира. По вечерам за чашкой шоколада в Европейской гостинице Эшенден обсуждал с профессором Z, куда лучше двинуть верных чехов. В квартире Анастасии Александровны на петроградской окраине он встречался с самыми разными людьми. Строились планы, принимались меры. Эшенден спорил, доказывал, обещал. Убеждал малодушных, подбадривал нытиков. Решал для себя, кто человек дела, кто тверд и честен, а кто колеблется. Научился не реагировать на то, что русские любят поговорить, и терпеливо выслушивал резонеров, способных потопить любое предприятие в разговорах. Остерегался измены. Высмеивал тщеславие глупцов и не поддавался на азартные проекты честолюбцев. Время поджимало. Ползли слухи – один мрачнее другого. Керенский метался, как перепуганная клуша.

И грянул гром. В ночь на 7 ноября большевики выступили. Министры Керенского были арестованы, Зимний дворец разграблен. Власть захватили Ленин и Троцкий.

Ранним утром, когда Эшенден шифровал в своем номере депешу, пришла Анастасия Алек-

сандровна. Эшенден валился с ног от усталости. Он не спал всю ночь – сначала толкался в Смольном, потом ездил к Зимнему дворцу. Анастасия Александровна была бледна, в сияющих карих глазах застыла горечь.

– Вы уже знаете?

Эшенден кивнул.

– Значит, все кончено. А Керенский, говорят, сбежал. Сдались без боя. Паяц! – яростно выкрикнула она.

В этот момент постучали. Анастасия Александровна нервно оглянулась на дверь.

– Моя фамилия значится в большевистских расстрельных списках, возможно, что и ваша тоже.

– Если за нами пришли, достаточно повернуть дверную ручку, – улыбаясь, сказал Эшенден, чувствуя легкий холодок под ложечкой. – Войдите!

Дверь отворилась и вошел мистер Харрингтон. По своему обыкновению он выглядел франтом – короткое черное пальто, брюки в полоску, начищенные штиблеты, на макушке шляпа-дерби – шляпу он при виде Анастасии Александровны снял.

– Ах, и вы здесь? А я собираюсь в город, зашел поделиться новостями. Ждал вас вчера вечером, но вы не пришли к ужину.

– Я был на митинге.

– Можете меня поздравить – дела мои уладились, вчера подписали контракт.

Мистер Харрингтон расплылся в самодовольной улыбке и гордо выпятил грудь, словно индейский петух, одолевший всех соперников. Анастасия Александровна внезапно расхохоталась истерическим смехом.

- Далила, в чем дело? - недоуменно вскинулся мистер Харрингтон. А она все хохотала, хохотала до слез, потом разрыдалась.

- Большевики свергли правительство, - объяснил Эшенден. - Министры Керенского арестованы. Людей хватают и расстреливают. Далила говорит, что ее фамилия значится в большевистском списке. Министру, который подписал вчера ваши бумаги, всё было уже безразлично. Контракт этот - фикция. Большевики в ближайшее время заключат мир с немцами.

Анастасия Александровна овладела собой.

- Мистер Харрингтон, поскорее уезжайте из России, пока не поздно. Иностранцу здесь оставаться опасно.

До мистера Харрингтона все еще плохо доходил смысл происходящего. - Боже мой, Боже мой! - приговаривал он, переводя взгляд с Эшендена на Анастасию Александровну. - Вы хотите сказать, что русский министр морочил мне голову?

- Как знать, может быть, он просто развлекался. Подумал про себя: ну, не смешно ли, сегодня подписываю контракт на пятьдесят миллионов, а завтра меня поставят к стенке. Анастасия Александровна дело говорит - уезжайте в Швецию с первым же поездом.

- А вы?

- Мне здесь тоже делать больше нечего. Сегодня запрошу инструкции и, как только разрешат, немедленно выеду. Большевики нас опередили, моим людям придется бросить все и спасать свои головы.

- Бориса Петровича расстреляли сегодня утром, - мрачно обронила Анастасия Александровна.

Оба взглянули на мистера Харрингтона — тот стоял растерянный и жалкий, похожий на воздушный шарик, пропоротый гвоздем. Но долго тужить мистер Харрингтон не привык. Через минуту — другую он робко улыбнулся Анастасии Александровне, и Эшенден впервые заметил, какая добрая и симпатичная у него улыбка.

— Послушайте, Далила, если большевики за вами гонятся, может быть, лучше будет поехать со мной? А надумаете перебраться в Америку, миссис Харрингтон охотно примет вас, поверьте моему слову.

— Представляю выражение лица миссис Харрингтон, когда вы заявитесь в Филадельфию с русской беженкой из Петрограда, — засмеялась Анастасия Александровна. — Будете потом всю жизнь расхлебывать эту кашу. Нет уж, я останусь здесь.

— Но ведь это опасно!

— Мое место в России. Я русская и не покину родину в беде.

— Далила, вы говорите глупости, — спокойно перебил ее мистер Харрингтон.

Анастасия Александровна внезапно осеклась и бросила загадочный взгляд в сторону мистера Харрингтона.

— Думайте, что хотите, Самсон, только чуется сердце, это еще цветочки. Одну Богу известно, чем теперешняя заваруха кончится. Мне не терпится увидеть все самой, своими глазами. Уехать? Ни за какие коврижки!

— Любопытство раньше вашей сестры родилось, — покачал головой мистер Харрингтон.

— Идите собирайтесь, — обратился к нему с улыбкой Эшенден, — мы проводим вас на вокзал. Представляю, какая там сегодня давка.

- Что ж, уезжать, так уезжать, жалеть не стану. За все время я здесь ни одного раза не поел прилично. Подумать только - кофе пустой, черный хлеб без масла да и того достать нельзя. Рассказать миссис Харрингтон, она не поверит. Порядка в этой стране нет, вот что.

Мистер Харрингтон вышел, а Эшенден и Анастасия Александровна заговорили о событиях. Эшенден сокрушался, потому что все его хитроумные проекты рухнули, Анастасия Александровна возбужденно строила прогнозы и гадала, чем закончится новая революция. При всей своей выдержке в глубине души она относилась к происходящему как к захватывающему спектаклю и сгорала от желания поскорей увидеть следующее действие. Снова постучали и, не успел Эшенден пошелохнуться, как в номер ворвался мистер Харрингтон.

- Безобразие, пятнадцать минут вызываю горничную и никакого внимания! - горячился он.

- Горничную, вы говорите? - воскликнула Анастасия Александровна. - Вся гостиничная прислуга разбежалась.

- А как же мое белье? Его обещали принести вчера вечером.

- Какое уж теперь белье, - промолвил Эшенден.

- Четыре рубашки, две нижние пары, две пижамы и четыре воротничка, - перечислял мистер Харрингтон. - Я без них с места не тронусь.

- Перестаньте валять дурака! - выпалил Эшенден. - Улепетывать нужно, пока не поздно.

Некого послать за вашим бельем? Значит, поедете без него.

— Нет уж, прошу прощения, сэр. В таком случае я сам пойду за ним. Меня и так здесь помытарили, хватит. Не желаю, чтобы четыре новенькие рубашки достались каким-то чумазым большевикам. Без моего белья я из России не уеду и баста.

Анастасия Александровна стояла потупившись, но при этих словах подняла глаза и улыбнулась краешками губ. Эшендену показалось, что она одобряет безрассудное упрямство мистера Харрингтона. Не может же человек в самом деле уехать из Петрограда без белья, как бы говорил ее взгляд. Это дело принципа.

— Спущусь вниз, спрошу, где эта прачечная. Если хотите, я схожу вместе с вами.

Мистер Харрингтон ожил.

— Вы потрясающе любезны, Далила. Ладно уж, заберу белье, какое есть, — и он подарил ее милой обезоруживающей улыбкой.

Анастасия Александровна вышла.

— Что вы теперь скажете о России и русских? — спросил мистер Харрингтон.

— Они мне осточертели. Осточертел Толстой, осточертел Тургенев, осточертел Достоевский. И Чехов осточертел, с интеллигенцией в придачу. Я истосковался по людям, которые не меняют решение по сто раз в день и умеют держать слово. Меня тошнит от красивых фраз, говорильни и позерства.

У Эшендена за эти дни накалилось на душе и он готов был произнести целую речь, но ему помешала отрывистая дробь — как будто кто-то высыпал в решето горох. В непривычную тишину,

с утра растекшуюся по городу, эти звуки ворвались резко и странно.

— Что такое? — насторожился мистер Харрингтон.

— Стреляют. Похоже, на другой стороне Невы.

Мистер Харрингтон скорчил гримасу и слегка побледнел; происходящее ему не нравилось и упрекнуть его было трудно.

— Пора, кажется, выбираться отсюда. За себя я спокоен, но нужно подумать о жене и детях. От миссис Харрингтон давненько нет писем, я начинаю беспокоиться. — Мистер Харрингтон помолчал. — Моя супруга удивительная женщина, когда-нибудь я вас с ней познакомлю. До поездки в Россию мы с ней не разлучались больше, чем на три дня.

Возвратилась Анастасия Александровна с адресом.

— Прачечная тут недалеко, минутах в сорока ходьбы, я провожу вас.

— Готов следовать за вами.

— Я бы выходить поостерегся. Неподходящий сегодня день для прогулок, — сказал Эшенден.

Анастасия Александровна вопросительно взглянула на мистера Харрингтона.

— Понимаете, Далила, у меня душа будет не на месте, если я уеду без белья. Да и перед миссис Харрингтон потом не оправдаться.

— Тогда идемте.

Анастасия Александровна и мистер Харрингтон вышли, а Эшенден занялся весьма прозаическим делом — составлением сложнейшей шифровки о драматических событиях в Петрограде. Шифровка была длинная и еще предстояло запросить инструкции о дальнейших действиях. Работа эта механическая, но требующая макси-

мального внимания: одна неверная цифра может исказить смысл целой фразы.

...Дверь внезапно распахнулась и в номер ввалилась Анастасия Александровна – запыхавшаяся, с растрепанной прической, без шляпы. На ней буквально не было лица.

– Мистер Харрингтон заходил к вам? – еле выговорила она.

– Нет.

– Может быть, он у себя в номере?

– Не знаю, пойдемте посмотрим. Что-нибудь случилось? Вы разве не вместе вернулись?

Пошли по коридору в номер мистера Харрингтона, постучали, никто не отозвался; подергали ручку – дверь была заперта.

– Его нет.

В номере Эшендена Анастасия Александровна опустилась на диван.

– Воды, пожалуйста. Дух не переведу, так бежала.

Эшенден налил воды, она выпила.

– Господи помилуй и спаси, – всхлипнула Анастасия Александровна, – только бы не ранили его, век буду каяться. Я-то ведь думала, он первый вернется. Дело было так. Прачечную мы разыскали. Старуха-приемщица белье нам не отдает. Мы и так ее уламывали, и эдак, уперлась и ни в какую. Мистер Харрингтон прямо взбеленился – пообещали ведь еще вчера постирать, да так узелок с бельем и бросили, не притронулись даже. Я говорю, чего уж там, это же Россия, а он мне: с цветными и то легче сговориться. Насилу мы старуху убедили. Идем назад, переулками, так спокойней. Вышли на какую-то улицу, вижу, в другом конце народ толпится, вроде бы как митинг. – Пой-

демте, говорю, узнаем, в чем дело, любопытство меня разбирает, потому что слышу — толпа волнуется. А мистер Харрингтон мне: Не отвлекайтесь, Далила, у нас свои дела. — Знаете что, говорю, идите укладывайтесь, а я одним глазком взгляну, потешусь. И бегом по улице, мистер Харрингтон за мной. Собралось там человек двести-триста, стоят, слушают студента. Тут же рабочие какие-то, перебивают его, надрываются. Протискиваюсь поближе — люблю я грешным делом такие перепалки. Вдруг стрельба и откуда ни возьмись вылетают из-за угла два броневика. На броневиках солдаты с винтовками и палят во все стороны, почему, отчего — непонятно. То ли из озорства, а может, с перепоя. Народ так и прыснул как зайцы, кто куда, давай Бог ноги. Тут мы с мистером Харрингтоном и потеряли друг друга. И почему его до сих пор нет, неужто беда какая стряслась?

— Нужно идти искать, — сказал Эшенден помолчав. — И понесла его нелегкая за этим бельем.

— А я его понимаю, очень хорошо понимаю.

— Можете утешаться, — не выдержал Эшенден.

— Идемте.

Он надел пальто и шляпу, и они спустились по лестнице. У гостиницы был странный вымерший вид. Вышли на улицу. Кругом ни души. Двинулись дальше. Магазины были закрыты, трамваи не ходили, какая-то сверхъестественная тишина парализовала огромный город. На дикой скорости промчался и исчез автомобиль. У редких прохожих были испуганные, унылые лица. На больших перекрестках стояли кучки растерянных обывателей, словно не зная, куда

приткнуться, — завидя их, Эшенден и Анастасия Александровна прибавляли шагу. Несколько раз им повстречались солдаты в мятых серых шинелях, они брели по мостовой, похожие на овец, отбившихся от стада. Наконец, Эшенден и Анастасия Александровна нашли улицу, которую искали. Она была совершенно пустынна. Зияли изрешеченные пулями окна. Были видны следы панического бегства: разбросанные книги, мужская шляпа, дамская сумочка, корзинка. Анастасия Александровна тронула Эшендена за рукав: на булыжной мостовой, уткнув голову в колени, сидела женщина — она была мертва. Рядом валялись два мужских трупа. Раненые, как видно, успели уползти или их подобрала знакомые. Потом Анастасия Александровна и Эшенден натолкнулись на мистера Харрингтона. Он лежал ничком в луже крови, его массивный лысый череп побелел до самого основания. Щегольское черное пальто мистера Харрингтона было заляпано грязью, шляпа-дерби закатилась в канаву. Он крепко прижимал к груди пакет с четырьмя рубашками, двумя парами исподнего, двумя пижамами и четырьмя воротничками. Своего белья мистер Харрингтон не уступил.

Перевод с англ. Льва Штерна



Пошли мне, Боже, истину...*

* * *

У Себастьяна Баха
Была одна рубаха.
Он в ней ходил на службу и так ее носил.
Когда она протерлась на вороте и локте,
Он новую рубаху у Бога попросил.

Он попросил у Бога
Так мало, так немного:
Ни смерти, ни спасенья, ни истины земной.
И Бог был опечален -
Ведь Бах необычаен,
Но не было у Бога рубахи ни одной.

* * *

Мы смотрели на глухие воды,
Как дымилась над тайгой заря.
Он сказал: "Зря жил я эти годы", -
Я ответил: "Может быть и зря..."

* Из самиздатского сборника В. Пуханова
"Мертвое - живое". Москва, 1988.

Я бы мог ему тогда ответить -
Рассказать о подвиге труда,
Что во имя жизни солнце светит,
Что войны не будет никогда.

Но природа в тихие погоды
Принимает нас за миражи...
Он сказал: "Зря жил я эти годы".
Я ответил: "Может быть, и жил..."

* * *

В Москве сентябрь, а в Кирове вот-вот,
Денек-другой - закончится октябрь.
Поля устали от людских забот.
Денек-другой им отдохнуть хотя бы.

Поля, поля, закончился аврал,
Укроет снегом - отоспитесь вволю.
...В Москве апрель, а в Кирове - февраль.
Земля земной не выбирает доли.

* * *

Раньше, чем беда случится,
Я почувствовать сумею.
Я скажу: беда случится,
Понимаешь ли, так выйдет...
Я скажу: беда случится,
Только ты ее не бойся,
Все равно с тобой останусь,
Я в беде тебя не брошу.

Раньше, чем беда случится,
Я скажу тебе об этом.
Только ты мне не поверишь -
Скажешь - я беду накликал.
Скажешь - я сошелся с горем,
Скажешь - я с ума сошедший,
Только беды предвещаю.

* * *

Нам жизнь прожить - что поле перейти.
У леса оглянуться и споткнуться,
Сухой травы на миг щекой коснуться
И деревом безмолвно прорасти.
Поверить каждой трещиной коры:
Не век пройдет - в печи огонь раздуют.
В дом приведут хозяйку молодую.
Взойдут леса, затупят топоры.
Дверь приоткрыть, в избе приют найти,
Родиться землепашцем безлошадным -
И в плуг впрягаться жадно, беспощадно.
Нам жизнь прожить, что поле перейти.
В дорогу собираться налегке,
Мечтать о счастье, о нездешней воле -
И в отражение звезд увидеть поле,
Себя на нем и лес невдалеке.
Что выстоит? Что даром пропадет?
Что по чужим краям растащат ветры?

* * *

Как жили древние народы
Невесть веков тому назад -

В их думах не было Свободы
И страха не было в глазах.

Лил летний дождь и дождь осенний,
Зола чернела, снег белел –
И в небе не было спасенья.
И в море не было галер.

* * *

Пошли мне, Боже, истину со мною.
А он ответил: истины жестоки...
И скроет за округлостью земною
И паруса, и белые флагштоки.
И минет срок. И море, негодую,
Отвергнет плоть земную. И нигде
Одна стихия не поймет другую –
Но отразятся ангелы в воде.

* * *

Что мне сказать народу моему?
Он много лет не верит никому,
И нас в пути встречает по одежде.
В последний провожает по уму,
Благословив наш подвиг безнадежный.

Чтоб не солгать народу моему –
Скажу, что я не верю ни ему,
Строителю, страдальцу, погорельцу,
Пожары созывающему в рельсу, –
Не канул в Лету – канул в Колыму.

Скажу, что я не верю ни ему,
Ни памяти, ни слову своему,
И даже смерти той, что за плечами
Уже крадется к слову одному.
Но и оно не значилось в начале.

* * *

Когда чернел над полем крест орлиный
И зарастала житница бурьяном,
По слову собирая на былину,
По нищим деревенькам шли бояны.
Все ожидали, укрывая глиной
Отцов и братьев, данников недавних, —
Когда бояны пропоют былиной
Богатыря, не знающего равных?

И тысячи за ним пойдут по зову,
И он шагает бесстрашными полками
На поле избавляться от позора
Мечом, копьем и голыми руками.



Чужая дочка

Рассказ

Когда они поженились и пришли в гости к его деду, которому было далеко за девяносто и который уже не выходил на улицу, а только в солнечные, совсем теплые дни сидел на лавочке у дома, блаженно полуоткрыв рот, заросший спутанными седыми волосами, и лукаво оглядывал слезящимися голубыми глазами проходивших мимо длиннокосых старшеклассниц, дед этот, безусловно выживший из ума, вдруг сказал ей, весело пожевав своими замшевыми губами: "Боюсь, что детей не будет".

Большей нелепости трудно было придумать. Она сидела перед ним, румяная, в белой кофточке, еле застегнувшейся на высокой груди, одной рукой прижимая к бедру нарядную сумочку, а другой натягивая короткую юбку на выпуклые круглые колени, она сидела, ослепляя своею вспыхивающей черноволосою красотою, своею только что проснувшейся женственностью, которая независимо от ее воли и желания исходила от нее так, как запах исходит от цветка.

Но дед, вскоре умерший, оказался прав. После медового месяца прошло уже четыре года, — сколько заснеженных дней, звездных ночей, знойных полдней провели они вместе, — а детей все не было и не было.

Постепенно он привык просыпаться на рас-свете. Часам к пяти ее мать, спавшая в той же комнате за ширмой, начинала пронзительно посвистывать носом, и это действовало на него, как будильник. Заложив руки под голову, он лежал в матовой неровной белизне надвигающегося утра и безнадежно рассматривал потолок, весь в мелких трещинках и лиловых подтеках, а потом, с тем же безнадежным выражением, переводил глаза на жену, видел ее пышущие здоровьем щеки, полную шею в застиранном воротничке, маленький выпуклый шрамик в уголке рта и думал: "Неужели так будет всегда?"

Вопрос этот, начиная негромко стучать в его голове, нарастал, подобно приближающемуся поезду и оглушал его своей беспощадностью.

"Не-у-же-ли так не-у-же-ли так не-у-же-ли так - всегда?"

Тот кудрявый мальчишка, которого надо было научить плавать, играть в шахматы и решать задачки, тот надоедливый ребенок, который мешал бы спать по ночам и ходить вечерами в гости, казался ему в эти медленные, утренние часы до того необходимым, что страх при мысли о том, что его никогда не будет, обдирав нутро, подкатывался к сердцу и вцеплялся в него хуже рассвирепевшего пса. Мертвой хваткой.

А она все бегала к рыженькой, веснушчатой докторше, которую больные дразнили "букашкой", и та с помощью своих холодных железок в сотый раз разорвав ей низ живота и до боли размяв его своими цепкими резиновыми пальчиками, каждый раз говорила одно и то же, избегая ее испуганного блестящего взгляда:

”Да, будет, будет. Не у нас, так в Киеве помогут. Ляжешь там на обследование, и тогда посмотрим”. Но от мысли, что надо ехать в Киев и лечь там на три недели в серую многоэтажную клинику, ее охватывал ужас, преодолеть который, казалось, невозможно.

”Бросит он тебя, – говорила ей старшая сестра Брана, мрачно сдвигая брови. – Или гулять начнет, даром что тихий”.

Она и верила, и не верила Бране, но однажды, пришивая к его пиджаку пуговицу, вдруг почувствовала слабый запах духов от воротника и, уронив иголку, разрыдалась, хотя понимала, что запах этот мог быть простым следствием недавнего дня рождения, на котором танцевали, и почти все женщины пришли сильно надушенными...

И вдруг это письмо...

”...так вот, а заканчивая про свое житье, скажу тебе, Гриша, что нас с женой совершенно выбила из колеи одна история, – писал ему приятель, много лет работавший на севере. – Тут недавно в соседнем доме умерла неожиданно женщина, оставив круглой сиротой свою грудную дочку. Родила она ее одна, без мужа, жила одна, очень мыкалась, и мы с Ниной помогали ей, чем могли. А теперь вот, после ее смерти, и девочку взяли к себе. Но, к сожалению, временно, потому что, сам понимаешь, при нинином здоровье да трех своих пацанах вряд ли мы с этим справимся. Придется отдавать в детдом, а девочка, Гриша, красавица. Мы таких детей в жизни не видели”.

Ночью оба не спали. Мать ворочалась за ширмой и кашляла.

"Ты о чем думаешь? Чего не спишь?"

Он облокотился на локоть и пристально посмотрел на нее.

"А ты чего не спишь?"

"Циля, ты не торопись, дело ведь не шуточное. Ребенок, да чужой, из чужого тела, понимаешь? Люди с родными маются, а тут..."

"Гриша! – вдруг вскрикнула она и тут же зажала рот рукой, покосилась на ширму. – Гриша, – зашептала она, блестя глазами. – Давай возьмем! Я тебе сейчас самую последнюю правду говорю: нельзя так больше! А если ты ребенка этого полюбишь да меня, никудаышнюю, не попрекнешь, ноги твои целовать буду! Хоть пей, хоть бей! Но не жить нам без ребенка, Гришенька!"

И обхватив его горячими напряженными руками, она забилась, заплакала, забормотала что-то, чего он уже не мог разобрать сквозь ее судорожные, неутихающие слезы.

Через несколько дней после десятичасового перелета, ледяным, останавливающим в горе дыхание, утром, он постучал в обитую войлоком дверь.

"Ну, слава Богу, добрался!"

Узкоглазая морщинистая женщина стояла на пороге.

"Закрывай скорей, Гриша, застудим!"

Негнушимися пальцами он растегнул пальто, потопал закоченевшими ногами и сказал каким-то не своим, хриплым голосом:

"Ну, где она? Покажи".

"Спит. Седьмой месяц пошел. Вчера из дет-

дома приезжали, а мы говорим: обождите, человек за ней летит. Ну, смотри, смотри. Мне бы, Гриша, здоровья побольше да жизнь полегче, я бы с ней не рассталась. Радость такая в доме — глаз не оторвать!”

Девочка спала. Пушистая, как одуванчик, головка, щекой прижатая к синей ситцевой наволочке, не только не удивила его своей новизной, но показалось, что он давным-давно знает именно эту желтую головку и это смешное, похожее на свернувшийся лепесток ухо, и еле заметные, вздрагивающие ресницы. Усмехнувшись, он дотронулся мизинцем до золотистого лобика, и она сразу же раскрыла молочно-голубые глаза, и тонкие полоски надбровных дуг страдальчески сморщились.

”Она так-то тихая, чистый ангелочек, редко когда и расплачется. Одно чудно: света яркого боится, мимо лампы хоть не пронеси. А ночами ее и не слышно. Ну, нравится? Потому что, Гриша, мы ведь не навязываем. Чужой ребенок... Что ж тут объяснять... А звать Адочкой. Мать простая была женщина, а какое имя откопала!”

”У меня мама, — сказал он все тем же не своим, хриплым голосом, — Аделей была. По-русски то Адой, то Алей звали. Вот и получится, что я дочку вроде как в ее честь...”

”Берешь, значит?”

В самолете она расплакалась. Была дремучая полярная ночь, и пассажиры, почти все до одного, крепко спали. В проходе между креслами валялись бумажки от мятных конфет. Он пытался напоить ее из соски так, как его учили, и качал, и гладил влажные желтые волосики, — ничего не помогало. Она кричала и, вытягиваясь на его руках, билась, как пойманная птичка.

”От материнской могилы увозишь, – про-
снувшись, сказала соседка, которой он нена-
роком рассказал всю историю. – Мать в земле
лежит, глубоко, а и то, небось, чувствует, что дитя
забрали. И эта тоже. Вишь, разрывается...”

Лицо его жены светилось так, как будто
кто-то зажег внутри электрическую лампочку.
Не дыша, не отрываясь, она смотрела на ребенка,
и быстрые слезы бежали по этому неудержимо
хорошеющему лицу в то время, как руки новыми
легкими движениями расстегивали на девочке
теплый костюмчик и разглаживали каждую
складку. Вечером он с изумлением услышал,
как она запела. Она негромко пела, склонив-
шись над самодельной кроваткой, подаренной
столяром-соседом и за неимением другого про-
странства поставленной прямо посреди комнаты,
между столом и ширмой.

Там, в глубине этого светлого шершавого
дерева лежала девочка с пронзительно-желтыми
завитками, обрамляющими ее головку, как сия-
ние.

Эту девочку они называли теперь своею
дочерью.

Прошло несколько дней. Он шел домой с
работы, чувствуя внезапно потеплевший, совсем
весенний воздух. Заходящее солнце загло
окна, форточки были открыты, и детские голоса,
доносящиеся с катка, казались особенно звон-
кими.

Циля открыла дверь.

”Температура, – прошептала она. – Высокая
такая, термометр зашкаливает. Врача вызывали.
Может, грипп, а может... Она сама не знает...

Если к утру не спадет, говорит, в больницу. Гриша!"

Он наклонился над кроваткой, и страх охватил его. Ничего, казалось, особенно не изменилось в этом пушистом лобике и закрытых глазах, но теплая младенческая жизнь не далее, как вчера, обозначенная яркими золотистыми красками, уступила место чему-то белому до голубизны, с пылающими пятнами сухих щек, с еще резче прорезанной надбровной складкой.

Наутро они сидели в пахнущем хлоркой приемном покое, когда врач из грудного отделения, сухой, сердитый человек в очень сильных очках, подошел к ним, высоко, как аист, поднимая ноги.

"Сложное положение. Я вас пугать не хочу, но предупредить должен. У нее инфекционный менингит в очень тяжелой форме. Плюс слабое сложение, плюс лекарственная аллергия. Все, что можем, сделаем, но..."

И остановился, увидел ее задрожавшие губы.

"Но вы поймите: ко всему надо быть готовыми..."

Под утро снег прекратился, и небо расчистилось, неожиданно обнажив свою сине-черную глубину с редкими неяркими звездами. Он вдруг проснулся. Цилия стояла перед незанавешенным окном, в мятой, до последнего пятнышка знакомой ему ночной сорочке, со сжатыми на груди большими руками и лихорадочно шептала что-то, глядя вверх умоляющим и одновременно требовательным взглядом.

"Господи, - услышал он. - Господи, Боже

милостивый, пощади! Не отнимай у меня ребенка. Господи!"

Она сделала небольшую паузу и всей грудью налегла на окно, словно не замечая стекла и прорываясь туда, к этому высокому, черному небу.

"Пощади нас, услышь меня, пожалей меня, милосердный Боже!"

Через шесть недель сердитый сухощавый человек в очень сильных очках говорил им, слегка раскачиваясь на длинных тонких ногах:

"То, чего мы опасались, подтвердилось, к сожалению. Она не слышит и говорить не будет. Осложнение, как я и боялся с самого начала. Такие вещи не обходятся. Честно говоря, в глубине души я вообще сомневался, что она вытянет. Понимаю вас и глубоко вам сочувствую, верьте. О ее умственной полноценности я бы пока прогнозировать не стал, это будет ясно через пять-шесть месяцев, не раньше. Но я хочу сказать другое. Это ведь ребенок вам не родной, удочеренный, так? И как человек пожилой, много разного повидавший, и как врач, возьму на себя смелость произнести: если вы чувствуете, что вам ноша не под силу, вы лучше откажитесь сейчас. Есть ведь специальные клиники, есть отделения в детских домах. Худо-бедно, но это предусмотрено. Потому что — представляете ли вы, что вас ждет? Глухонемая, да, не дай Бог, с мозговым дефектом впридачу? Смотрите. Тут решать только вам. От всей души сочувствую, поверьте".

Маленькая желтоволосая красавица с припухшей страдальческой складкой бровей лежала в самодельной кроватке между столом и ширмой.

Он чувствовал, как ноют его руки. Они были от тяжести этого маленького тела, которое он только что принес из больницы, находящейся неподалеку, и она спала, так и не проснулась, пока ее сначала заворачивали, а потом разворачивали здесь, дома, между столом и ширмой. Она крепко спала, и только загнутые ресницы ее вздрагивали от чужих прикосновений. Теперь, глядя на нее, от желтых завитков которой их комната сразу посветлела, словно в центр ее, между столом и ширмой, положили сияние, он чувствовал странную пустоту в своих ноющих руках, и было похоже на то, что, избавившись от горячей тяжести этого маленького, завернутого в зеленое шерстяное одеяло тела, его руки не находили себе места.

”Выжила, и слава Богу! – вдруг отчетливо произнесла Циля и поправила желтый завиток на подушке. – Слышишь меня, Гриша? Выжила, говорю я, и – слава Богу!”

Они по-прежнему работали вместе на чулочной фабрике, но Циля перешла в вечернюю смену, и получалось так, что теперь они виделись только ночью да по воскресеньям, потому что, приходя с работы, он уже не заставал ее дома, и дверь ему открывала кашляющая седая мать, за руку которой держалась девочка. И каждый раз, переступив порог своего дома, он наклонялся к неподвижному бледному личику в ярко-желтых локонах и глаза под припухшими бровями светлели при его появлении.

Когда ей исполнилось восемь лет, он повез ее в специальную школу для глухонемых детей, недавно открывшуюся в одном из новых, отдаленных районов. В автобусе было душно,

опаздывающие на работу люди толкали друг друга и раздражались. Пахло бензином, жареными семечками и дешевым цветочным одеколоном. Ее лицо так притиснули к карману его пиджака, что он почувствовал сквозь ткань две хрупкие лобные косточки и, чертыхаясь про себя на эту духоту, нечистоту и отвратительный цветочный запах, взял ее на руки.

“На такси мы разоримся, так? В интернат ее не сдадим, так? В автобусе она измучается совсем, никакая школа не нужна, так? – шептал он ночью не спящей и слушающей его с блестящими в темноте глазами Циле. – И потому я завтра возьму в сарае тележку, ту, помнишь, абрашину? И буду ее возить. Что страшного? Выйдем пораньше. Там, между прочим, если через Ленинскую идти, большой кусок можно срезать. А в обед ты будешь забирать. Попробуем?”

Несколько недель город с удивлением привыкал к странной картине: каждое утро из дома № 6 по Пролетарской улице выходил молодой мужчина с сильной проседью и, толкая перед собой тележку, в которой сидела маленькая бледная девочка с желтыми волосами, проделывал полуторачасовое путешествие до улицы Максима Горького, где находилась школа-интернат для глухонемых детей. Перед школьным крыльцом он останавливался, вынимал девочку из тележки и, взяв ее за руку, поднимался с нею на третий этаж. А после обеда полная неторопливая женщина с блестящими глазами везла тележку с девочкой обратно – с улицы Максима Горького до дома № 6 по Пролетарской.

Осенний дождь внес в эту картину небольшое разнообразие: мужчина и женщина ходили теперь в черных прорезиненных милицейских плащах, делающих их похожими на монахов-францисканцев, а девочка сидела в тележке, свесив маленькие ноги в резиновых сапожках и держала над головой большой, порыжевший от времени зонт...

"Гриша, — услышал он однажды под утро. — Проснись, Гриша! Что я тебе сказать должна! Беременна я, понимаешь?"

Была ранняя весна, и улица разрывалась от воробьиного чириканья. В розовом рассвете звякнул первый трамвай.

"Врешь!"

"Ей-Богу! Зачем мне врать! Я вчера у врача была. Два месяца. Кровь проверили. Резус нормальный. Что ты молчишь?"

Внезапно она разрыдалась.

"Я ведь почему плачу, — заторопился ее влажный хриловатый шепот. — Ведь до чего мы этого хотели, до чего я мучилась, помнишь? А теперь... Я все об Адочке думаю... Ей-то каково будет? Маленький ребенок ведь внимания потребует! Мать да Брана к нему переметнутся, а она? Гриша, ты на меня, как на полоумную, не смотри. Мне Адочка — всё. У меня по ней сердце изболелось, ни на кого его больше не осталось..."

Странно, но и он чувствовал то же самое. Этот ожидаемый младенец, который должен был вот-вот занять ее место в самодельной кроватке, как-то нарушал их жизнь, сложившуюся и по-своему счастливую. Центром этой жизни была она, худенькая девочка со страдальческой складкой бровей, и красный здоровый родной

ребенок, готовый зашевелиться в теле его жены, словно бы посягал на часть принадлежащей ей любви, на ту неудержимую нежность, которую вызывал каждый взгляд на ее неподвижное золотистое личико.

Ее они, не сговариваясь, звали только Адочкой или Аделечкой, но родившуюся черноглазую крепкую девочку стали называть Райкой, а иногда почему-то Раиской, и это тоже не сговариваясь, невольно.

Черноглазая девочка подпрыгивала на своих пружинистых ножках в самодельной кроватке, срыгивала на слюнявчик излишек жирного цилиного молока и громко кричала по ночам, не нарушая, однако, сна безмолвной, ничего не слышащей желтоволосой красавицы, которая перекочевала теперь за ширму к вечно кашляющей матери.

Через пять лет после рождения внучки мать умерла от рака легких. Адочке было почти пятнадцать.

Прошло два года. Две заснеженные реки, с зеленой травой и болезнями, дождливыми утрами, краткими ночами, обрываемыми нетерпеливым будильником, с вечной недосказанностью и торопливостью, вечным желанием крепко закрыть глаза при пробуждении и раздраженной жалостью друг к другу... Протекли две реки, проплыли.

И протекли, и проплыли, и унесли с собою последние, не забеленные сединою пряди, и школу-интернат на улице Максима Горького, куда давно уже не подъезжала тележка с бледной маленькой девочкой, но каждое утро

подходили двое: средних лет, совершенно седой мужчина и желтоволосая девушка в черном школьном переднике. Взявшись за ручку тяжелой двери, она на секунду приподымала опущенные ресницы. Они прощались глазами.

Протекли две реки, проплыли...

Зачем же понадобилось тому, давно прижившемуся на севере, другу, вдруг приехать к ним, да еще со своим старшим сыном?

Впрочем, гостей уже можно было принять, потому что теперь они жили в просторной двухкомнатной квартире нового дома, и ширма была им не нужна, и не было больше двора с протянутыми для белья веревками, и не было сарая с накопленной поколениями рухлядью.

"Гриша, она с него глаз не спускала, заметил? Как за стол сели, так ее словно околдовали! Глотка чая не выпила! Этого нам еще не хватало, Господи!"

"Да не выдумывай ты, спи!"

"Какое 'спи'! Страшно мне что-то, как давно уже не было! Гриша, не отворачивайся, посмотри на меня! Я ведь знаю, о чем ты думаешь!"

В темноте он погладил ее по лицу, задержался ладонью на этих блестящих, широко открытых глазах.

"Спи".

Ему снилась река. Она была мутной и неспокойной. На берегу лежал ребенок. Он наклонился и взял на руки почти невесомое обнаженное тельце. Это была она. Желтые завитки защекотали его пальцы. Он вошел в реку, намереваясь смыть с нее налипший песок, но первое

прикосновение воды обожгло подошвы, и он проснулся.

Рассветное солнце колдовало над лицом его спящей жены и неторопливою желтизною растекалось по скатерти. Он встал. Ломило затылок, но странно — ощущение это показалось ему знакомым.

В кухне спали девочки. Стараясь не шуметь, он осторожно отвернул кран, налил себе воды. Сделал глоток и вдруг почувствовал легкую дурноту. Райка заворочалась во сне, заулыбалась. Машинально он перевел глаза, которые резало от яркого света, с ее румяной черноволосой головки на это мраморно-бледное любимое с пронзительно-желтым завитком на худой щеке и неплотно сомкнутыми ресницами. В глазах его повисла паутина и запрыгали черные точки. Через силу он сделал еще глоток и вернулся в комнату.

Она, не отрываясь, смотрела на крепкого смуглого юношу, приехавшего к ним в гости, и лицо ее было бледнее обыкновенного. Ему нравилось это лицо, но вместе с тем было неловко. Хотелось дотронуться до ее желтых кудрей, провести губами по золотистой щеке, взять за талию. Хотелось и не хотелось. Она была красавицей, да. Но она же была и глухонемой с последствиями перенесенного мозгового заболевания. Отец строго посматривал на него сквозь очки.

Незаметно прошла неделя. Он спал, зарывшись головой в подушку. Хозяева были на работе. Ребенка, по всей вероятности, отвели в детский сад. Отец покупал в кассе билеты. Часы показывали полдень, когда он проснулся.

В комнате с небольшим зашторенным окном было полутемно. Не разлепляя век, он почувствовал на себе ее взгляд. Она тихо сидела на плоском зеленом диване, цвет которого подчеркивал яркую желтизну ее волос.

”Воды не принесешь?” – попросил он.

И спохватился, вспомнил, что она не слышит. Но она поняла по губам. Вышла в кухню и вернулась с большой чашкой. Глаза ее расширились, брови странно, страдальчески изогнулись. Он взял из ее рук чашку и стал медленно пить, глядя на нее исподлобья. Поставил чашку на пол и за руку притянул ее к себе. Она покорно села рядом на одеяло. Лицо ее было неподвижным. Он не знал, что делать. Вынужденное безмолвие сковывало движения. Нерешительно он дотронулся ладонью до желтых волос, прозрачной щеки, виска. Она смотрела прямо ему в глаза немигающим голубым взглядом. Преодолевая неловкость, он расстегнул верхнюю пуговицу ее домашнего ситцевого платья, прижался губами к шелковистой коже. Под рукой застучало ее сердце. Теперь он обеими ладонями гладил горячую молочную белизну. Между ними было скомканное одеяло. Он отшвырнул его и резко, рывком, прижал ее к себе. Желтые кудри побежали по его плечам. Не отпуская ее, он опустился на спину. Как речная волна, безмолвная, вздрагивающая, нахлынуло это крупное тело. Торопливыми руками он сорвал с нее, наконец, тесное, неподатливое платье и бросил его на пол. Голова кружилась от этой теряющей последние покрывы золотистой красоты. Вдруг она застонала и отпрянула. В дверях стоял ее отец.

”Подонок, – прошептал он. – Подлец! Как ты посмел? Как...”

Он хотел сказать еще что-то, но, увидев ее остановившиеся, потемневшие глаза, рванулся к ней, чтобы поднять с пола растерзанное платье, прикрыть ее наготу, а затем обрушиться на этого смуглого крепкогрудого чужачка, который – еще секунда – причинил бы ей острую боль, сломал бы ее беспомощную безмолвную жизнь, а вечером следующего дня, никем не пойманный, улетел бы к себе на север, к визгливым краснощеким девкам, пахнущим здоровым потом, с их грубыми ногами и крашеными челками. Он рванулся к ней, но резкая боль в затылке отбросила его назад, к дверному проему. Он стукнулся головой о косяк. Боль в затылке вдруг прошла и сменилась какой-то странной невесомостью. Не чувствуя своего тела, он взмыл к потолку, оставляя глубоко внизу полутемную комнату с уменьшающейся на глазах кроватью, на которой растекалась белая акварель обращенного к нему тающего лица под знакомыми до каждой пряди желтыми волосами.

Он еще попытался вспомнить имя той, которой оно принадлежало, но это было ему уже не под силу.



Рыболовы

Рассказ

Июль, а не жарко! Хоть солнце печет и ветра нет, а не жарко!

В воздухе как будто определилась устойчивость – день обещает быть погожим. И океан тихий и ласковый; чуть набегает на берег волна, такая маленькая, что даже морские курочки не пугаются. Стоят и ждут – им сейчас море по колено!

И рыболовам тоже по колено, хоть и стоят они подальше, от берега футах в пятидесяти. Можно было б еще вперед податься, не замочив трусов, но Василий Иванович сказал, что нужно тут: тут, мол, пройдут косяки – "червонные", как он выразился, потому что идут на червяка.

Алексей Петрович стоит поодаль, за небольшой косой, о которую слабо разбивается набегаящая волна.

Прилив уже начался, и Василию Ивановичу кажется, что напрасно стоит его приятель за косой, и он кричит:

– Вы бы левее взяли! Легче будет тянуть!

Что тянуть и почему легче, тот не понимает, но послушно продвигается влево. Здесь глубже, а вода холодная, и он морщится, но забрасывает лесу довольно ловко.

Удят они уже с час, но безуспешно. Когда-то рыбачили с лодки, но после того как в

прошлом году Алексей Петрович упал с лодки, бросили это дело: когда человеку за семьдесят, хорошо чувствовать под ногами почву.

По прошлому своему и по внешности люди они разные. Василий Иванович крупный, грубоватый и загорелый. Волосы у него густым торчком, полуседы, полу – Бог знает какие. Кубанский казак второй эмиграции. Говорит он хрипло и отрывисто, и при этом больше чем нужно открывает рот и пучит глаза. Язык хоть и отесался за тридцать лет, но все еще выдает простолюдина, хлебороба.

С Алексеем Петровичем все наоборот: он худощав, бел и подтянут. Волос – чуть-чуть, а те, что остались, лежат гладко, отчего лоб его кажется высоким, а нос длинным. Речь у него аккуратная, и по ней сразу догадаешься, что он из "бывших", первой эмиграции.

Василий Иванович холода не боится; червяки у него в банке через плечо, и на берег он не выходит. От холодной воды у него только краснеют ноги.

А у Алексея Петровича посинели не только ноги, но и губы. Он крепится, а нет-нет, да и вылезет на берег, якобы с тем, чтобы переменить наживу. Но Василия Ивановича не проведешь: он догадывается, почему его друг держит червяков на суше. И он ворчит, как бы про себя, но так, чтобы его услышали:

– Какие нежности! А еще военный! – А спустя некоторое время недовольно добавляет: – Бегаєте туды-сюды, всю рыбу распугали!

Другой молчит. Потом с наигранной бодростью бросает:

– Ничего! Сейчас ваши косяки подойдут. Червонные!

Василий Иванович хмурится и сплевывает на сторону.

И червяки у рыбаков разные: у Алексея Петровича – аккуратные, дождевые, совсем не строптивые и непредубежденные против крючка, на который лезут с женской грациозностью.

У Василия Ивановича червяки допотопные – большие и хмурые, и каждый вступает с ним в единоборство. И тогда он принимается их корить, пересыпая упреки такой отборной бранью, что партнер не выдерживает:

– И зачем братья-то?

– Зачем, зачем! Вы посмотрите, что они делают! Кусаются!

– А вы бы не кусались?

– Ч-е-р-р-т! – Еще немного и непокорный насаживается на крючок и отправляется на дно. В тот же момент леса натягивается, дергает и... отпускает.

– Сорвалась, проклятая! – ворчит рыболов и принимается крутить катушку.

Вода кругом кишит морскими окуньками, линьками и прочей мелкотой, но все, что срывается с крючка у Василия Ивановича, приобретает огромные размеры.

– Вот это была рыбина! – хвастливо комментирует он, рассматривая покалеченного червяка. – Двадцать фунтов, не меньше! Хорошо, что не проглотила, все равно не удержал бы. – И он вступает в схватку с очередным бунтарем.

Солнце припекает сильнее. Вместе с воздухом нагревается тишина: она проникает в уши, отчего пульс становится громким и горячим. Тело как батарея заряжается теплом, и Алексей

Петрович чувствует, как оттаивают ноги. Но он устал.

— Посидим, может? — спрашивает он нерешительно.

Партнер окидывает его ироническим взглядом и затем молча накручивает лесу.

Через минуту рыболовы усаживаются на берегу. Из кошелок извлекается закуска. Чайки, предвкушая угощение, кружат над головами.

— Вы мою возьмите! — говорит Василий Иванович и придвигает к соседу крупную редиску.

— Моя тоже хороша.

— Ваша как губка, а моя — во! — И Василий Иванович смачно раскалывает зубами редиску.

Алексей Петрович не сдается: берет свою и тоже кусает, но происходит это без звука — редиска мягкая.

— А философ без редисов! — смеется первый.

— Не редисов, а огурцов, — морщится другой и тут же спохватывается, но поздно.

— И огурцы у вас "колхозные", — не унимается насмешник.

— Огурцы, это положим...

— Ничего не "положим". Семена как подсолнечные, со скурлупкой!

Алексей Петрович сердится.

— Дался вам мой огород, — говорит он, а сам смотрит на чаек, которые, осмелев, бочком подступают к сидящим. Ему хочется огурца, но он не решается его вынуть, потому что боится еще насмешек.

— Вот у нас на Кубани... — доносится до него.

Алексей Петрович не выдерживает и вскакивает.

— У нас на Кубани! У вас на Кубани и огурцы молочные — хоть в кофе выжимай! И дыни в ульях выращивают. А сомы — во! — Он широко разводит руками. — Будь у вас руки подлинней, то и сомы были бы покрупней! — Он нервно подергивает головой и принимается ходить взад и вперед. Чайки, разочарованные, отходят в сторону и о чем-то совещаются.

Вид у Алексея Петровича смешной: долговяз, грудь впалая, а кость в плечах широкая и руки свисают далеко по сторонам, как с вешалки. И еще у него очень чувствительные ступни: от каждого камешка он вскидывается как раненый перепел.

Василий Иванович смотрит на него и примирительно смеется:

— Ладно, садитесь уж! — и вынимает из кошелки бутыл. Сизая мутная жидкость разливается в бумажные стаканы. — Еще не совсем перебродило, — поясняет он и протягивает компаньону стакан.

Василий Иванович все умеет: и огород, и вино, и починки всякие. Ему это нужно: пенсия у него небогатая. И справляется, не жалуется. Хоть и не Кубань, а все есть.

Они пробуют: вино не вино, квас не квас, а неплохо! Пьют, закусывают, еще пьют. Василий Иванович подливает, и обоим хорошо. Чайки подступают ближе и, не довольствуясь предложенным им угощением, новорят стянуть куски побольше.

Рыболовы закусили и молчат. Один старается припомнить, какие были чайки на Кубани. Другой возвращается к размышлениям о том,

идти ли в старческий дом, куда его сманивает старый друг, капитан Кашкин. В доме для стариков хорошо, есть клуб, библиотека, церковь. А здесь глушь, книг не достанешь, только и пробавляешься русской газетой и двумя станциями телевидения. Летом еще ничего: рыбалка, огород, грибы. А зимой тоскливо. И уход скоро понадобится: ведь семьдесят четыре года! Все это Алексею Петровичу ясно. Одно неясно: как с нынешней жизнью порвать? Вчера, казалось, стало ясно, и написал он Кашкину, что, мол, согласен. А сейчас вспомнить не может, как оно получилось...

Василий Иванович поднимается.

– Отлив уж. Закинем, что ли?

Другой тоже встает, надевает шляпу, хлопотет над удочкой. Червяки у него сомлели, зато у Василия Ивановича рвутся в бой, и он нехорошо ругается.

Вода согрелась, но после солнца кажется холодной, и оба кряхтят и шараются от каждого всплеска. Но это состояние скоро проходит. Они занимают позиции и бодро забрасывают лесу.

Опять покой, тишина. Солнце сместилось на сторону. Море ослепительно блестит, отражая косые лучи. Чайки кружатся тут же, к неудовольствию Василия Ивановича, и он брызгает на них водой.

В отдалении появляется эскадрилья ”рыболовов”; летят низко, потом поочередно падают на воду, коротко остаются на поверхности, трясут хвостами – значит, не зря шлепнулись. Для Василия Ивановича это добрый знак.

– Сейчас пойдет! – шепчет он так, что сосед вздрагивает.

Но начинается мелкий клев, причем только у Василия Ивановича. Полчища мелкоты атакуют его червяков. Каждые полминуты он снимает с крючка колючего окунька, и его брань достигает уже четвертого поколения злополучной рыбешки. Сердит его и то, что партнера мелкота обходит. И он кричит:

– Проверьте червяка! Слопали, наверное!

Тот подтягивает лесу, проверяет наживу и отвечает:

– Цел! – И опять посылает покойника на дно.

– Цел! Кому он нужен? Лягушей на него ловить!

И вдруг натянулась леса у Алексея Петровича. Постояла, а потом как рванет! Так, что вся удочка под воду ушла, едва удержал за конец.

– Есть, поймал! – крикнул он.

Василий Иванович глянул и тотчас сообразил, что дело серьезно.

– Держи его, стервеца! – закричал он в свою очередь и, подтянув лесу, бросил удочку как копье на прибрежное мелководье, а сам заторопился к удачнику.

А у того творилось невообразимое: невидимая силища то тянула, то отпускала, а затем опять рвала так, что не только удилище, но и рыболов уходил в воду по горло.

Василий Иванович был совсем близко, когда что-то громадное, в пене и брызгах, взметнулось над водой и затем тяжело ухнуло в еще не заполнившуюся воронку.

– Страйпер! – дико закричал он. – Отпускай лесу, дура!!!

Но было поздно. Еще рывок, еще прыжок, и в руках у рыболова осталась неестественно полегчавшая удочка, с которой бессильно свисала пустая, спиралью, бечева.

— Ушел, черт паршивый! Упустили! — причитал Василий Иванович. — Фунтов двадцать пять, а то и все тридцать будет! Эх, вы!

Алексей Петрович передернул плечами, мол, какая разница. Ему вдруг опять стало холодно. Да и по мере того, как возбуждение спадало, проступало чувство обиды за "дуру". Грубости он не переносил и сейчас был расстроен.

— Вы уж как хотите, а я пойду, — сухо обронил он и полез из воды. Василий Иванович молча последовал за ним.

Облака стали собираться еще раньше, а пока они управились, небо совсем заволокло и в нем с криком носились не то буревестники, не то альбатросы.

Идти было недалеко — меньше мили, да и хлынувший затем ливень был теплый, а тропинка была хорошо утоптана, но шли они молча. Алексей Петрович выступал впереди и хмуро смотрел себе под ноги. Василий Иванович зачем-то волочил удочку по земле. Он догадывался, почему его компаньон расстроен, и досадовал на себя за оплошность.

— Дождина! В такую не то что на рыбалку, на собственные похороны не поедешь, — сказал он и заискивающе хихикнул, давая понять, что вовсе не считает свою остроту удачной.

Алексей Петрович не откликнулся. Дорога проходила лесом; здесь было по-особенному сыро и мрачно. И невольно представилось ему, как где-то сейчас, на балконе уютного дома, сидит в кресле такой чистый и опрятный капи-

тан Кашкин и другие еще, люди интеллигентные; разговаривают, читают, играют в шахматы. А здесь? Здесь совсем одичаешь. Кроме Василия Ивановича – никого! И грубый он, словечки всякие... Вот как и сегодня. Мужик!

И так, шагая под дождем, внедрял в себе Алексей Петрович уверенность, что решение его правильно и оставаться ему здесь незначем. Вот вернется домой и сразу позвонит Тому Карсону: тот давно на его домик метит. Раз-два – и дело в шляпе, хоть через месяц уезжай.

Проживали рыболовы на окраине городка, неподалеку друг от друга. Домик Алексея Петровича приходился ближе, и с рыбалки обычно сворачивали к нему. На этот раз вышло по-другому. Когда дошли до угла, спутник его сказал нерешительно:

- Ну, что ж... прощайте!
- Да... до свидания!

И пошли себе, каждый своей дорогой. Как чужие.

Придя домой, Алексей Петрович умылся, надел белую рубашку, костюм, подумал и надел галстук, и таким гоголем прошелся по дому. Все было опрятно, хорошо: горшки с цветами в окне, диван новый, два кресла, стол с четырьмя стульями. На полках книги, на стенах картины: "Лес" Шишкина, другая – французского художника, а на третьей – зонт огромный, похожий на дерево. Впрочем, это могло быть и дерево, похожее на зонт.

Алексей Петрович вспомнил, что ему хотелось огурца. Достал, разрезал. Огурец очень походил на тот, что описал его приятель, но Алексей Петрович откусил. Долго жевал, не

выплевывая семечек, а остальные бросил в корзину.

Дождь продолжал лить, в доме стемнело, а он нарочно не зажигал света и, оглядываясь по сторонам, старался представить себе свое жилище мрачным и неуютным. Но это не удавалось, и тогда он переключился мыслями на Василия Ивановича. Он думал, какой это грубый, неотесанный человек. И бранится все время. Никакого такта! Старому русскому офицеру сказать "дура"! Мужик, и ничего с мужиком не поделаешь! И это он не впервые, он и раньше как-то поднес ему эту самую "дуру". Наверное, было, вот только не вспомнит, где и когда.

Он наморщил лоб. Память за последние годы ослабела, часто не мог восстановить и недавних событий. Но вот, что про обиду забыл, это странно! Он переводил глаза с предмета на предмет, словно в одном из них мог открыть свидетеля.

И когда остановился - в третий раз - на модели парусника, неожиданно вспомнил.

А дело было так: в прошлом году удил он как-то с лодки, футах в трехстах от берега. А Василий Иванович близко к берегу стоял, тоже с удочкой. То ли волной лодку качнуло, то ли рыболов неловко повернулся, только лодка ушла из-под ног и хлюпнулся он в воду. И при этом его еще веслом оглушило. Когда вынырнул, лодку уже отнесло в сторону. И понял - конец! Глянул к берегу и видит, словно птица большая по-над водой летит и крыльями по воде бьет. Потом оказался рядом Василий Иванович. Страшный такой, лицо белое и зубы оскалены как у зверя! Это он, значит,

двести футов отмахал без передышки. А зубы оскалены так, словно он возле утопающего что-то страшное приметил и этому страшному в горло вгрызться порешил. Своей же смерти, что за ним шла, не видел, не до нее ему было.

Алексей Петрович, ничего не соображая, повис у него на шее.

И забарахтались старики: вниз-вверх, вниз-наверх... Тут и случилось. Оторвал его руки Василий Иванович, да как захрипит:

– Ложись на спину... дура! – А в глазах одно: "Сдохну, а вытяну!"

И вытянул. А как вылезли из воды, оба на песок упали: спасенный ненадолго, а спаситель так и остался лежать. Отвезли его в больницу. Трое суток смерть у его койки дежурила. А за дверью – Алексей Петрович дежурил. С гражданской войны, кажется, не молился, а теперь стоял и путанно, с укором, шептал: "Господи, смертью смерть поправ!"...

И отступила смерть, а Василий Иванович словно и не заметил. Когда зашел к нему приятель и что-то забормотал о своем спасении, больной даже рассердился:

– Вы, – говорит, – мне не заливайте, зачем! А вот удочку новую соорудите – из-за вас похерил!..

Все это и припомнил сейчас Алексей Петрович. И так гадко стало на душе! Мужик!.. Неотесанный!.. – Дальше и думать не мог. Вскочил, скинул галстук, и в дверь! Открывает, а за дверью... Василий Иванович! Мнется, видно, не решается постучать. Увидел хозяина, смутился и, не глядя на него, протянул бумажный кулек:

- Тут клубнички малость... А я, значит, того и значит... - Но, взглянув Алексею Петровичу в лицо, понял, что ни о чем просить не следует. Потому что это только слова, а сейчас происходило что-то поважней. Такое, что редко, может, только раз в жизни с человеком бывает.

И тот, другой, это почувствовал и молча уставился на гостя, не замечая, как из-за туч вдруг ярко брызнуло солнце, как мимо самого уха с тонким писком пролетел в дверь комар, а от прижатого к груди кулька медленно расползлось по рубашке большое красное пятно.



Мария ШНЕЕРСОН

Что может выйти из этого Шарикова?

*(К двадцатилетию публикации
"Собачьего сердца" М. Булгакова)*

"...Некоторые мои доброжелатели избрали довольно странный способ утешать меня, — возмущался М. А. Булгаков в письме к другу. — Я не раз слышал уже подозрительно елейные голоса: 'ничего, после вашей смерти все будет напечатано!' Я им очень благодарен, конечно"⁷.

Но ведь "утешители" как в воду смотрели. Они предсказали судьбу почти всех произведений Булгакова, среди них — и повести "Собачье сердце".

Написанная в 1925 году, повесть эта была впервые напечатана сорок три года спустя в журнале "Грани" (1968, № 69) и в альманахе "Студент" (1968, №№ 9–10). Впоследствии "Собачье сердце" неоднократно переводилось на иностранные языки. Но на родине писателя повесть увидела свет лишь в 1987 году, через шестьдесят два года после ее создания ("Знамя", № 6). Впрочем, и столь позднее появление этого произведения на страницах одного из ведущих советских журналов кажется каким-то чудом.

Большевики считали (и не зря!) "Собачье сердце" настолько крамольным, что цензура сразу же запретила его печатать, а в 1926 году ГПУ учинило у писателя обыск и конфисковало рукопись. Только по ходатайству Горького она была возвращена Булгакову. В шестидесятых-восемидесятых годах "Собачье сердце" широко распространялось в самиздатских списках. Но даже упоминание его в работах о Булгакове, как правило, не допускалось.

Год назад появилась в журнале "Октябрь" статья Ю. Буртина, где ставится вопрос о посмертных публикациях художественных произведений (в советских изданиях, как известно, они буквально пошли косяком). "Дорога ложка к обеду", — замечает критик². Произведения, адресованные читателям прошлых лет, — развивает он эту мысль, — обычно теряют нечто важное, попадая в контекст другой эпохи. Новые поколения могут не увидеть в них того, что увидели бы современники писателя.

Не потому ли и иные из прежде запрещенных вещей теперь разрешается печатать? За давностью лет они потеряли былую остроту. К тому же кое-что нетрудно и обезвредить с помощью ложной трактовки.

Быть может, нечто подобное случилось и с "Собачьим сердцем"? Блестящая сатира, убийственно язвительная в пору ее создания, могла с годами потускнеть. Ведь повесть насыщена реалиями, характерными именно для двадцатых годов. И кое-что без комментариев непонятно современному читателю. Все ли знают, например, что такое "уплотнение", "реквизиция" или, скажем, "Жиркость"? Кто нынче разглядит скрытую цитату из Маяковского: поэт приду-

мал рекламу — "Нигде, кроме как в Моссельпроме!" А у Булгакова пес размышляет: "...Нигде кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме!"³ Далеки от современного читателя и образы нэпманов или членов жилищного товарищества. Непонятно, почему приговор преступнику смягчается, "принимая во внимание происхождение". Ушли в прошлое и другие черты эпохи двадцатых годов. Стало быть, и сама повесть превратилась в безвредный музейный экспонат? Так, да не так!

В отличие от произведений, отражающих лишь злобу дня, для которых запоздалая публикация, действительно, смертельна, ибо дорога ложка к обеду, "Собачье сердце" не превратилось в памятник прошлого. Читателя покоряет не только неподражаемый булгаковский юмор, причудливое сплетение реалистических деталей с безудержной фантастикой, блистательный язык истинного мастера слова, но и его провидческий дар, быть может, нигде с такой силой не проявившийся, как в этой небольшой повести. Нет, не случайно именно "Собачье сердце" дольше других произведений Булгакова подвергалось запрету. Да и теперь о его глубинной сути молчат советские критики, ибо суть эта злободневна и убийственна поныне.

Даже В. Лакшин (наш бывший кумир, для многих уже давно утративший былой ореол) в статье, предваряющей публикацию "Собачьего сердца" в "Знамени", обходит молчанием острые углы и петляет вокруг да около. Как это повелось в работах советских литературоведов, Булгакова критик изображает эдаким беспартийным большевиком: он-де обличал во имя "строительства новой жизни", отстаивал

"человеческие нравственные ценности" и "идеалы революции". И - вывод: "Булгаков искренне пытается помочь новому обществу избавиться от тех его язв, какие зорко видит"⁴. Ничего не говорит Лакшин о конфискации рукописи чекистами, а гонителями писателя объявляет деятелей РАППа - и только. В статье, конечно, можно найти и некоторые острые намеки и иносказания. Да и грешно упрекать советского критика, что он главное обходит молчанием, ибо цель его в том и заключалась, чтобы затушевать смысл повести и таким способом пробить ей дорогу в печать. А уж читатель сам как-нибудь разберется!



Еще в 1927 году советский критик А. Воронский высказал предположение, что в повести "Роковые яйца", предшествовавшей "Собачьему сердцу" и, несомненно, связанной с ним, Булгаков нападает на "коммунистический эксперимент"⁵.

Эту мысль развивает и первая издательница полного собрания сочинений Булгакова Элендеа Проффер. Она утверждает, что в обеих повестях проводится общая идея: революционное переустройство мира, будь то природа или общественные отношения, ведет к гибели, и единственно верный путь - эволюционный. Э. Проффер пишет о "Роковых яйцах": "...можно найти основание для аллегорической интерпретации роли интеллигенции (Персикиов) в совершении революции"⁶. Иными словами, устанавливается некая аналогия между открытием Персикова, принесшим неисчислимые бедствия, и революцией. А также

– между Персиковым и интеллигенцией, на которой лежит ответственность за революционные потрясения.

Но ведь открытие Персиковым "луча жизни" стало роковым не потому, что оно было гибельным само по себе, а потому, что в работу ученого грубо вмешалась советская власть в лице большевика-фанатика Рокка, "гепеуров" с Лубянки, безграмотных газетчиков и таинственных правителей из Кремля. Это они заставили Персикова вынести за стены лаборатории еще не проверенное там изобретение, игнорируя протесты ученого. Сам он лишь вынужден был подчиниться злой воле, и ответственность за все последствия лежит не на нем, а на всесильной власти. Персиков же оказался одной из жертв – и только.

Да и в "Собачем сердце" последствия эксперимента профессора Преображенского не были бы столь плачевны, если бы не советский режим, установивший классовый подход к человеку, обязательную прописку и прочее, о чем речь впереди.

Очевидно, мысль о недопустимости насилия над природой, как и над социальным строем, присутствует и в "Роковых яйцах", и в "Собачем сердце". В известном письме Правительству от 28 марта 1930 года Булгаков говорит, что он сторонник "Великой Эволюции". Аналогичная мысль звучит и в устах профессора Преображенского: "Вот, доктор, что получается, когда исследователь вместо того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и приподнимает завесу: на, получай Шарикова и ешь его с кашей" (III, 194).

Но нельзя, с моей точки зрения, суть всей повести сводить к этой мысли. Никак не могу согласиться и со следующими выводами Э. Проффер: "Факт, что занимательная повесть представляет собой политическую аллегорию, не подлежит сомнению" (III, XXVII). Писатель якобы отождествляет "противоестественную операцию с большевистской революцией". "В образе блестящего хирурга, предпринимающего рискованную операцию, легко увидеть Ленина, представителя интеллигенции с присущим ему ученым видом. И трудно усомниться в том, что Шарик <...> представляет собой определенный тип недалекого русского рабочего или крестьянина, которого большевистская революция превратила в Шарикова" (III, XXVIII-XXIX).

Ниже я попытаюсь опровергнуть то, что тут сказано. Пока что замечу лишь одно: сведение художественного произведения всего только к "политической аллегории" не может не привести к упрощению⁷. Не одна какая-то политическая идея, облеченная из цензурных соображений в аллегорическую форму, составляет художественную плоть "Собачьего сердца". Произведение это многослойное, многоплановое и столь же сложное, как и другие создания Булгакова. Наряду с мыслью об опасности насильственного эксперимента в повести заключены такие открытия, которые не укладываются в прокрустово ложе простой аллегории.



"Собачье сердце" вобрало в себя некоторые характерные мотивы булгаковского творчества. И прежде всего – мотив крушения устоявшейся,

естественной человеческой жизни под напором стихийных враждебных сил. Интеллигент до мозга костей, Булгаков в душе остается верен традициям и идеалам "старого и все-таки бесконечно милого, до слез очаровывающего режима" (III, 90). В упомянутом письме Правительству писатель говорит, что в интеллигенции он видит лучшую часть народа.

Символом разрушающегося, но вечно прекрасного мира в творчестве Булгакова становится ДОМ – семейный очаг, домашний уют, хранимый многими поколениями бытовой уклад интеллигентной семьи. "...Особое значение для меня имеет образ лампы с абажуром, это для меня очень важный образ. Возник он из детских впечатлений – образ моего отца, пишущего за столом", – говорил писатель другу в 1926 году⁸.

Как справедливо отметила Л. Яновская – автор монографии о Булгакове – в "Белой гвардии" противостоят друг другу "образ насилия и жестокости, образ войны – и образ светлого тепла и мира, образ дома"⁹. Кто не помнит кремовых занавесей в квартире Турбиных, "бронзовой лампы под абажуром"?! На символический смысл этого образа указывают слова автора: "Никогда. Никогда не сдерживайте абажур с лампы! Абажур священен <...> У абажура дремлите, читайте – пусть воет вьюга..."¹⁰

Как символ войны и революции, враждебной человеку стихии, через весь роман проходит образ вьюги. Он появляется уже в эпиграфе из "Капитанской дочки", а затем неоднократно возникает в разных эпизодах. Вот, например, как говорится о революции: "Давно уже начало

мести с севера, и метет, и метет, и не перестает, и чем дальше, тем хуже"¹¹. Рассказывая о замысле "Белой гвардии" и "Дней Турбиных" в "Театральном романе", Булгаков обращается к тем же образам-символам: "Так я начал писать роман. Я описал сонную вьюгу. Постарался изобразить, как поблескивает под лампой с абажуром бок рояля"¹². То же - о замысле пьесы: "Вьюга разбудила меня однажды <...> и опять дальний город, и бок рояля и выстрелы <...> Я вижу вечер, горит лампа. Бахрома абажура. Ноты на рояле раскрыты"¹³.

Культу ДОМА в произведениях Булгакова противостоит кошмар гражданской войны и последующих лет советской власти, когда возникают такие противоестественные явления, как уплотнение, реквизиция жилплощади, коммунальные квартиры. "Жилище есть основной камень жизни человеческой", - говорит писатель в очерке "Москва двадцатых годов" (I, 410). И посягательство на жилище равносильно посягательству на свободу личности, на самые основы человеческого бытия.

Писатель создает трагическую поэму в прозе о гибели ДОМА - "№ 13, Дом Эльпит-Рабкоммуна". Дом, превращенный в рабкоммуну, обречен. И гибель его рисуется, как торжество дьявольских сил: огонь словно "бес раздул"; лицо Аннушки, виновницы пожара, "как у ведьмы"; "за черными окнами была бесовская метель" (II, 373-375). Гибель ДОМА обретает глобальный характер: "Страшно жить, когда падают царства" (II, 375).

Ужас перед необоримой бесовской силой проснулся в душе писателя еще в семнадцатом году. Он писал сестре: "Недавно в поездке в

Москву и Саратов мне пришлось видеть воочию то, что больше я не хотел бы увидеть. Я видел, как толпы бьют стекла в поездах, как бьют людей. Видел разрушенные и обгоревшие дома в Москве”¹⁴.



На первый взгляд может показаться, что в основу сюжета "Собачьего сердца" положена история неудачного эксперимента. Но конфликт, составляющий главную пружину действия, заключен в другом. На страницах повести разыгрывается борьба профессора Преображенского за неприкосновенность его жилища – борьба человека за свой ДОМ. На этот последний оплот ученого посягают представители советской власти Швондер с "жилтоварищами" и Шариков – существо, появившееся в результате неудачного эксперимента.

Не случайно в повести так много места отводится детальному описанию квартиры профессора, удобного устоявшегося быта. И не случайно начинается "Собачье сердце" с картины, враждебной ДОМУ: "Вьюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою с ней", – жалуются бездомный пес. И на этот раз метель представляется какой-то бесовской силой: "Ведьма сухая метель загремела воротами <...> и замела пса"; "Вьюга захлопала из ружья над головой"(III, 121-122).

Этой злой силе противопоставлен домашний рай, куда попадает Шарик. Возникает острый контраст: мрак и холод сменяются теплом и светом. "За розовым стеклом вспыхнул не-

ожиданный и радостный свет <...> обдало божественным теплом" (III, 127).

Среди прекрасных вещей – ковров, фарфора, дорогой мебели, которые любовно описывает автор, есть, конечно, и "лампа под шелковым абажуром" в столовой, и другая – под "тяжелым зеленым колпаком" в кабинете. Свет их создает мирную домашнюю обстановку.

Но квартира Филиппа Филипповича – всего лишь островок, чудом сохранившийся в темном вьюжном море. Бывший дом Калабухова, где с 1903 года живет профессор, превращен в рабкоммуну и обречен так же, как и бывший дом Эльпит. Еще не вступив в уютное жилище ученого, мы слышим на лестнице разговор швейцара с Преображенским: "...а в третью квартиру жилтоварищей вселили, – с тревогой говорит швейцар. – ...Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей". Так сразу же рождается завязка: ДОМУ угрожает беда.

Далее действие развивается стремительно. В тот же день к профессору приходят представители домкома во главе с Швондером. Они намерены подвергнуть ученого уплотнению наравне с прочими жильцами. И разгорается борьба не на жизнь, а на смерть. Она достигает кульминации, когда на сцене появляется Шариков и предъявляет права на причитающуюся ему жилплощадь. Вот-вот домашний очаг Филиппа Филипповича будет разрушен. Но он выходит из битвы победителем. Мир снова воцаряется в ДОМЕ. Такова развязка фантастической повести.

В ходе борьбы отчетливо выявляются антагонистические силы: Преображенский на одном

полюсе, Швондер и Шариков – на другом. В образе старого профессора с мировым именем воплощены дорогие Булгакову черты подлинного русского интеллигента. Гениальный ученый, творец, труженик, он живет напряженной интеллектуальной жизнью, мало обращая внимания на то, что происходит вокруг. Для него существует только наука, да еще, пожалуй, музыка, которая неизменно звучит в его душе.

Но не только духовные интересы дают право герою Булгакова на звание истинного интеллигента. Он великодушен, благороден, щедр. Он уважает человека и сам отличается обостренным чувством человеческого достоинства. Недаром он напоминает порой древнего короля или рыцаря. Это не только великий ученый, но и носитель высокой морали. "На преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками" (III, 196), – учит профессор своего друга и помощника Борменталья. (Уже одни эти слова свидетельствуют, что между Преображенским и Лениным нет ничего общего!)

Во внешнем облике, в манере поведения, как и в языке профессора, есть нечто общее с самим автором (это, конечно, не значит, что Булгаков стремился сохдать автопортрет; речь идет лишь о некоторых родовых чертах интеллигента старой формации).

Отец Филиппа Филипповича был кафедральным протоиереем; отец писателя – профессором Киевской Духовной Академии. М. Яншин рассказывает, что после того, как на Булгакова посыпались обвинения во враждебном отношении к советской власти, он начал особенно явно демонстрировать свое отличие от окружающих:

”...он стал подчеркнуто старательно причесывать непослушные волосы, носить белые крахмальные воротнички, стал держаться, я бы сказал, с какой-то подчеркнутой старомодностью”¹⁵. Другой мемуарист вспоминает, что не только одежда Булгакова, но и ”форма объяснения с собеседником <...> вроде ’извольте-с’ или ’как вам угодно-с’ /.../ решительно все выделяло его из нашей среды” (I, 42).

Внешний облик Преображенского сразу же заставляет наблюдательного пса заключить: ”Здесь пролетарием не пахнет” (III, 126). Шуба на дорогом меху, лазоревый домашний халат, обращение к собеседникам – ”сударыня”, ”милостивый государь”, ”покорнейше благодарю вас” – все это подчеркивает отчуждение профессора от мира ”пролетариев”.

Но в первую очередь роднит писателя с его героем ненависть и презрение к тем, кого Филипп Филиппович пренебрежительно называет ”они”. Ненавидит он ”их” прежде всего потому, что его мораль не совместима с большевистской. Отвечая на вопрос, как удалось ему заманить Шарика, Преображенский говорит: ”Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя <...> Они напрасно думают, что террор им поможет” (III, 129). (Снова спрошу: какой же это Ленин?!)

Ненависть сказывается и в случайных репликах (”Вы не можете сказать, что придет им в голову” – III, 141), и в развернутых тирадах. Например, в такой: ”Если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет – не говорите за обедом о большевиках и медицине.

И - Боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет <...> Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать "Правду", - теряли в весе <...> Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа" (III, 142).

Ненависть профессора основана не только на том, что он не признает террора, газетной трескотни и фальши. В большевиках, и не зря, он видит врагов ДОМА. Прогноз его безотраден: "...в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову" (III, 142). В ответ на возражение Борменталья: "Они теперь изменились" - Филипп Филиппович рассказывает историю калошной стойки, находившейся в парадном подъезде его дома до марта 1917 года (примечательно, что началом бед, обрушившихся на ДОМ, он считает именно март, то есть февральскую революцию). В марте все калоши были украдены, и теперь в них ходят, не снимая, "пролетарии" и пачкают мраморные лестницы и ковры. Это - символ бескультурья, бесхозяйственности, неуважения к ДОМУ. "Я не говорю уже о паровом отоплении, - иронизирует профессор. - Не говорю. Пусть: раз социальная революция - не нужно топить. Но я спрашиваю <...>, разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры?" (III, 143).

Когда же Борменталь ссылается на разруху, Преображенский возражает: разруха - фикция, дело не в ней. "...Если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня начнется разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза <...>, в

уборной начнется разруха <...> Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев" (III, 145).

Нет нужды доказывать, насколько Филипп Филиппович оказался прозорливым. При существующем порядке вещей он не верит в возможность каких-либо улучшений в доме, где он живет, "да и во всяком другом доме" (III, 145). Всеобъемлющий смысл слов ученого подчеркивает авторская ремарка: "гремел он, подобно древнему пророку, и голова его светилась серебром" (III, 145).



Носителем большевистской идеологии, врагом ДОМА рисуется в повести председатель домкома Швондер, о котором Филипп Филиппович отзывался весьма нелестно: "...Сидит изумительная дрянь в доме - как нарыв" (III, 186). Одна деталь во внешнем облике Швондера определяет его суть. Это - кожаная куртка - знак принадлежности к категории комиссаров и чекистов. Так, в фельетоне "Спиритический сеанс" Булгаков рисует одного из агентов ГПУ: "Он был кажаный! Весь кажаный, начиная с фуражки и кончая портфелем" (II, 367). В "Роковых яйцах" таким же предстает перед Персиковым Рокк - фанатик времен военного коммунизма, который и в 1928 году продолжает носить ставшую старомодной кожаную тужурку.

Председатель домкома, управдом - характерная фигура двадцатых - тридцатых годов - не раз появляется в произведениях Булгакова (вспомним хотя бы управдома из пьесы "Иван

Васильевич" или Никанора Ивановича из "Мастера и Маргариты").

...Позволю себе небольшое мемуарное отступление. В моей семье частыми ночными гостями были "гепеушники" (или, как их назвал Булгаков, "гепеуры"). При чем во время обысков неизменно присутствовал управдом. Он же с помощью дворников следил за жильцами, наблюдая, кто к кому ходит, кто когда возвращается домой, кто пытается несколько дней прожить без прописки. Это была зловещая личность. И мой маленький кузен, часто слыша, как взрослые с опаской поминают управдома, стал бояться таинственного злодея, называя его по-своему "дядей Дёмой". С тех пор у нас на семейном эзоповом языке чекисты-гепеушники-гебисты именовались не иначе, как "дядя Дёма".

...Не только одежда Швондера, но и речь его типична для большевистского деятеля. Она полна штампованных трескучих слов, почерпнутых из газет, лозунгов, докладов, и не может не резать слух интеллигентного человека. Вот, например, как Швондер обращается к профессору: "Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой" (III, 136). На все случаи жизни у него есть готовые ярлыки: "Вы анархист-индивидуалист?"; "А вдруг война с империалистическими хищниками?" (III, 175).

Особенно характерен донос Швондера, под видом статьи напечатанный в газете. Там говорится о Преображенском и Шарикове: "...это его незаконорожденный (как выражались в гнилом буржуазном обществе) сын. Вот как раз-

влекается наша псевдоученая буржуазия. Семь комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнет над ним красным лучом" (III, 167).

Здесь что ни слово – то образец квазиреволюционной риторики, причем в каждом слове слышится глухая "классовая" ненависть и стремление разрушить, уничтожить ДОМ.

И все это – под маской правосудия, за которой скрывается беззаконие. Покойного Клима Чугункина, чей гипофиз профессор пересадил псу Шарику, судили за какие-то преступления, но оправдали, принимая во внимание его пролетарское происхождение. А к честному труженику Преображенскому женщина – член домкома – обращается с вполне реальной угрозой: "...если бы вы не были европейским светилом, и за вас не заступались бы <...> лица, которые, я уверена, мы еще разъясним, вас следовало бы арестовать". Основание для ареста представляется абсолютно бесспорным: "Вы ненавистник пролетариата!" – гордо сказала женщина. – "Да я не люблю пролетариата!" – печально согласился Филипп Филиппович..." (III, 138–140).

В 1925 году еще возможен был такой диалог, и без последствий. Но впервые прочитав "Собачье сердце" в шестидесятые, мы не могли не задуматься над дальнейшей судьбой профессора Преображенского, которого со временем чекисты, безусловно, "разъяснили" (как Шарик "разъяснил" чучело совы, разодрав его на части). И никакая европейская слава не могла спасти ученого от "блистающего меча правосудия". Примеров – не занимать...

В конце "Собачьего сердца" едва не состо-

ялся арест профессора по обвинению в убийстве пролетария Шарикова. Но в фантастической повести все кончается благополучно. На то она и фантастическая!



Швондер мог бы сказать о себе словами щедринаского Угрюм-Бурчеева: "Идет некто за мной, кто будет еще ужаснее меня"¹⁶.

Председатель домкома оказался бессильным в борьбе с Преображенским, а вот от Шарикова ДОМ спасло только чудо. Этот субъект появился в профессорской квартире как враждебная ей сила, и мирный очаг ученого легко мог превратиться в коммунальный ад.

В творчестве Булгакова не раз возникал жуткий образ коммунальной квартиры (например, в фельетоне "Самогонное озеро") и негодяя, который отравляет жизнь всем жильцам: таков некий Василий Иванович. Этот "кошмар в пиджаке и полосатых подштанниках заслонил мне солнце! – восклицает писатель в очерке "Москва двадцатых годов". – Он не мыслим в человеческом обществе, и простить его я не могу, даже принимая во внимание его происхождение!" (I, 410). Как и Клим Чугункин, Василий Иванович неуязвим, ибо он – пролетарий. Он ругается, пьет, буйствует, играет на гармонике, когда ему вздумается, и безнаказанно терроризирует всю квартиру. Так же начинает вести себя и Шариков. И можно себе представить, как бы развернулся этот "трудовой элемент", если бы воцарился в доме профессора.

Облик Шарикова особенно отчетливо вырисовывается при сопоставлении его с бездомным дворнягой Шариком. Пес – трус, хитрец, подлиза, но таким сделала его собачья жизнь, по натуре же он привязчив, деликатен, умеет быть благородным, обладает к тому же "каким-то секретом покорять сердца людей" (III, 149). Когда Борменталь называет Шарикова человеком с собачьим сердцем, Преображенский горячо возражает: "О нет, нет <...> ради Бога не клевете на пса <...> весь ужас в том, что у него (у Шарикова. – М. Ш.) уже не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, какие существуют на свете" (III, 196).

Справедливость этих слов не подлежит сомнению. Вспомним, с каким сочувствием относился Шарик к бедной машинисточке, как проникновенно думал о ней, как тонко понял ее положение. Ненависть вызывает у умного пса любовник бедной девушки, мысли которого Шарик верно угадывает: "...теперь пришло мое времячко, я теперь председатель и сколько ни накраду – все на женское тело, на раковые шейки, на Абрау-Дюрсо. Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует" (III, 121). "Жаль мне ее, жаль!" – воет пес, глядя на бедную девушку и сам погибая от стужи, голода, раны.

Шариков наследует сердце не доброго животного, а пьяницы и преступника Клим Чугункина. И получив должность заведующего подотделом очистки Москвы от бродячих животных (котов и пр.), он становится начальником, видимо, этой же самой машинисточки. К тому

же выдает себя для пущей важности за бывшего "красного командира". И вконец запугав бедняжку, принуждает ее вступить с ним в брак. Когда же после разговора с Преображенским она отказывается, негодая грозит ей: "Ну, ладно <...> попомнишь ты у меня. Завтра тебе устрою сокращение штатов" (III, 203). Так Шариков уподобляется "председателю", о котором пес Шарик думал с негодованием. Получив хоть малую, но власть, Полиграф душит не только котов, но и подчиненных. А получи он власть побольше?!

Разница сказывается также в интеллектуальном уровне собаки и человекоподобного существа. Язык Шарикова (Клима) – язык подонка. Первые же слова его – непечатная или, в лучшем случае, печатная брань ("отлазь", "гнида", "сволочь"). Речь его примитивна, бедна, неграмотна ("польты", "РЕСЕФЕСЕРЕ" – так он произносит РСФСР).

Обычно, изображая животных, писатели пытаются воспроизвести их специфическое восприятие мира. Булгаков же делает своего четвероногого героя эдаким интеллектуалом. Это не только создает неожиданный комический эффект, но и подчеркивает ограниченность человеческого существа, в которое после операции превратился Шарик.

Внутренняя речь пса красочна, образна, остроумна. Порой он выражает свои мысли несколько изысканно и уж вовсе неожиданно для простой дворняги. "Сады Семирамиды!" – восхищается он квартирой профессора. Усы его сравнивает с усами французских рыцарей, называет своего благодетеля "бескорыстной личностью". Псу не чужда и старомодная вежли-

вость ("Не извольте беспокоиться", "извольте ли видеть"). К тому же он наделен богатым воображением. Преображенный, в его представлении, "волшебник, маг и кудесник из собачьей сказки", а сам он - "собачий принц-инкогнито". Шарик способен мыслить и на отвлеченные темы. "Да и что такое воля? - рассуждает пес. - Так дым, мираж, фикция... Бред этих злосчастных демократов..." (III, 152). Пес и впрямь, как он сам считает, "интеллигентное существо". И нет решительно ничего общего, кроме ненависти к котам и кое-каких чисто собачьих повадок, между ним и тупым невеждой Шариковым.

Но главное отличие заключается в следующем: Полиграф - враг и разрушитель ДОМА, Шарик же - друг. С появлением пса в профессорской квартире усиливается атмосфера уюта, домашнего покоя, благополучия. Повесть завершается идиллической картиной, в которую естественно вписывается Шарик: "Серые гармонии труб играли. Шторы скрывали густую пречистенскую ночь /.../ Высшее существо, важный песий благодетель сидел в кресле, а пес Шарик, привалившись, лежал на ковре у кожаного дивана /.../ и мысли в голове у пса текли складные и теплые" (III, 209).

А вот Шариков выглядит в квартире профессора, как нечто чуждое, словно сама улица ворвалась в мирный, тихий уголок. Полиграф плюет на пол, всюду разбрасывает окурки, учиняет пьяный дебош, ворует, клеветает, ругается.

Не вяжется с обстановкой квартиры и внешний облик Шарикова. Он щеголяет в галстуке ядовито-небесного цвета, в ослепительных

лаковых щиблетах. Когда же получает должность заведующего и приступает к уничтожению котов (кстати, в этой его деятельности ощущается некий намек на уничтожителей более высокого ранга), на Полиграфе появляется пресловутая кожаная куртка и штаны, как на "кожаном человеке" из ГПУ, как на Рокке, Швондере и им подобных.

Но особенно враждебно ДОМУ и его хозяину все то, что успешно и очень быстро привил Шарикову его воспитатель и идейный руководитель Швондер. Тупоумный получеловек, не способный усвоить самых элементарных культурных навыков, с поразительной быстротой овладевает большевистской фразеологией, языком газетных статей и лозунгов, да и "мыслить" начинает по-большевистски.

Живя на иждивении профессора, он считает себя пролетарием. При этом в душе презирает истинных тружеников – будь то ученый или прислуга. Филип Филиппович называет горничную и кухарку не иначе, как "Зина", "Зинуша", "Дарья Петровна", обращается к ним уважительно на "вы". А Полиграф заявляет: "Ну, уж и женщины. Подумаешь. Барыни какие. Обыкновенная прислуга, а форсу, как у комиссарши" (III, 169).

Такого рода снобизм не мешает Шарикову ненавидеть "классового врага" – интеллигента Преображенского. Когда профессор, возмущенный обращением к нему – "товарищ", восклицает: "...я вам не товарищ!" – Полиграф злобно огрызается: "...Какие уж мы вам товарищи! Где уж. Мы в университетах не обучались, в квартирах по пятнадцать комнат не жили. Только теперь пора бы это оставить. В настоя-

щее время каждый имеет свое право..." (III, 170). В другом месте он заявляет: "Я не господин, господа все в Париже!" (III, 189).

Но чем больше ненавидят друг друга Шариков и Преображенский, тем больше в словах бывшего пса чувствуется сила, а в словах ученого — беспомощность, растерянность. Настало время шариковых. И советская власть — их власть. Оба это отлично понимают.

Говорит Шариков "безапелляционно и уверенно", ибо убежден, что его суждения отвечают духу времени. Так, он заявляет: театр — всего лишь "дурака валяние". Хуже того: "Разговаривают, разговаривают... Контрреволюция одна" (III, 184). Самоуверенный невежда, он готов вступить в спор хоть бы и с самим Энгельсом или Каутским: они, с его точки зрения, недостаточно революционны. "Они лишь пишут, пишут... Голова пухнет". А по-Шарикову, социальные проблемы решаются куда как просто: "Взять все, да и поделить <...> А то что ж: один в семи комнатах расселился, штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет" (III, 185), — намекает Шариков на Преображенского, обедая за его столом и наслаждаясь благами его квартиры. Но вот что характерно: во всех этих выпадах так или иначе слышится ненависть к ДОМУ и посягательство на него.

Паразит по натуре, Шариков убежден, что при советской власти он стал хозяином жизни ("Кто был ничем, тот станет всем"). И трагедия заключается в том, что ничтожный невежда прав! На протяжении последующих десятилетий именно от шариковых будут зависеть судьбы великой страны, народа, ДОМА...

Этому не помешает, что Полиграф и ему подобные находятся "на самой низшей ступени развития". Ничто не помешает им командовать теми, кто находится на высшей ступени; именно шариковы будут "с развязностью совершенно невыносимой подавать <...> советы космического масштаба и космической же глупости" (III, 185). И советам этим принудят следовать, и назовут их "историческими". В конце повести Шариков сходит со сцены. Но пройдет несколько лет, и в реальной жизни имя шариковым будет легион. Будущее — за ними. И в этом — трагический смысл булгаковской сатиры.

Страшная суть шариковщины полнее всего обнаружена в доносе Полиграфа на Преображенского: "...а также угрожая убить председателя товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие. И произносит контрреволюционные речи, и даже Энгельса приказал своей социалприслужнице Зинаиде Прокофьевне Буниной спалить в печке, как явный меньшевик..." (III, 204).

Трудно поверить, что эти строки написаны задолго до Большого Террора. Но ведь он не сразу обрушился на страну. И тип доносчика, следователя, палача, всех тех, кто "приводил в исполнение", короче — тип Шарикова — формировался постепенно. Зародился этот тип едва ли не тогда, когда в доме Калабухова исчезла калошная стойка. В Совдепии он сразу же пришелся ко двору. Мне кажется, Булгаков был первым, кто в полной мере разгадал его, кто разглядел шариковщину, ставшую опорой и сутью большевистского тоталитаризма. Но лишь теперь, имея за плечами опыт трагических

десятилетий, мы можем по-настоящему оценить провидческий дар художника.

Впрочем, герои Булгакова уже догадываются, какую страшную силу способен приобрести тугоголовый Полиграф. "Боже мой, я только теперь начинаю понимать, что может выйти из этого Шарикова!" – ужасается доктор Борменталь (III, 196). Подмечает он и то, что Шариков – "Швондерова работа" (III, 189). Конечно, не будь большевиков, откуда бы взялся шариковщине?! Это они, твердокаменные фанатики, воспитали "простых советских людей" в духе революционной "морали", превратив их в демагогов, предателей, трусов и хладнокровных убийц.

В повести встречаются удивительно прозорливые строки: "...Ну так вот, Швондер и есть самый большой дурак, – замечает профессор Преображенский. – Он не понимает, что Шариков для него более грозная опасность, чем для меня. Ну, сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь в свою очередь натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки" (III, 196).

Поразительно, как в 1925 году писатель предугадал, что случится десятилетие спустя! Кто же, как не шариковы, уничтожал старых большевиков? И кого же, как не швондеров, судили на знаменитых процессах? Шариковы стали верной опорой сталинского режима, слепыми исполнителями державной воли, опричниками и верными псами великого тирана.

Есть еще одна деталь, которая вряд ли может быть расценена как преднамеренная, но которая, тем не менее, кажется знаменательной. Вгляди-

тесь во внешний облик Шарикова: "Лоб скошен и низок", "Лоб поражал своей малой вышиной. Почти непосредственно над черными кисточками раскидистых бровей начиналась густая головная щетка" (III, 168). А вдобавок к этому – усы. Обращает на себя внимание и фамилия Клима (психологический склад которого унаследовал Шариков) – Клим Чугункин. Не рождается ли ассоциация: чугун–сталь? Я не хочу сказать, что Булгаков вознамерился нарисовать портрет Сталина. Но все-таки облик Шарикова чем-то напоминает будущего "гения всех времен и народов", уже в двадцать пятом году – генерального секретаря и фактического главы государства. Совпадение? Но какое!..¹⁷

С годами приобретая новые черты, приспосабливаясь к обстоятельствам, не вывелась порода шариковых и после XX съезда. Все те же верные псы разоблачали культ одной личности, создавая культ другой и служа очередному властелину. Существует шариковщина и поныне, и никакой Горбачев не способен вылечить общество от этой чумы – прежде всего потому, что он сам ею заражен. "Правители приходят и уходят, а шариковы остаются", – могли бы мы перефразировать известный афоризм.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Неизданный Булгаков. Тексты и материалы. Под ред. Элендеи Проффер. Анн Арбор, "Ардис", 1977, с. 39.
2. "Октябрь", 1987, № 8.
3. М. А. Булгаков. Собрание сочинений. Анн Арбор, "Ардис", 1983, т. III, с. 122. Том I вышел в 1982, т. II – в 1985. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте (в скобках указывается номер тома и страницы. Иногда страницы в этом издании нумеруются римскими цифрами). *Моссельпром* – советский торговый

трест, объединявший пищевые предприятия Москвы и стремившийся вытеснить частника с рынка. Реклама Маяковского написана в 1923 г.

4. "Знамя", 1987, № 6, сс. 74-75.

5. Э. Проффер ссылается на статью А. Воронского "Писатель и книга" (III, сс. XVIII, XXXII).

6. См. сс. XV-XVI.

7. Стремление свести всю повесть Булгакова к примитивной политической аллегории нашло крайнее выражение в статье, напечатанной в порядке дискуссии в "Новом журнале" за 1987 г., №№ 168-169 - "Тайнопись в 'Собачем сердце' ". Автор статьи С. Иоффе доходит до утверждений совершенно фантастических, заявляя, что не только профессор Преображенский - это Ленин, но и его горничная Зина - Зиновьев, кухарка Дарья Петровна - Дзержинский, а чучело совы - Крупская! Думаю, полемизировать с такого рода утверждениями нет необходимости, ибо абсурдность их очевидна. (От редакции: нам представляется, что не следовало бы так резко отзываться о рассуждениях С. Иоффе. Он занимается особой областью литературоведения, предметом которой является не просто анализ реальных прототипов героев литературного произведения, но и мозаика прототипов, давших художнику возможность создать "кумулятивный", сборный портрет героя.)

8. Неизданный Булгаков. Цит. изд., с. 39.

9. Лидия Яновская. Творческий путь Михаила Булгакова. Москва, "Советский писатель", 1983, с. 98.

10. Михаил Булгаков. Избранная проза. Москва, "Художественная литература", 1966, с. 127.

11. Там же, с. 113.

12. Там же, с. 511.

13. Там же, сс. 538-539.

14. Лидия Яновская. Цит. изд., сс. 30-31.

15. Неизданный Булгаков. Цит. изд., сс. 52-53.

16. М. Е. Салтыков-Щедрин. "История одного города". Собр. соч., Москва, "Художественная литература", 1969, т. 8, с. 397. "Влияние Салтыков оказал на меня чрезвычайное... - писал Булгаков. - Когда я стал взрослым, мне открылась ужасная истина. Атаманы-молодцы, бемпутные клемантинки, рукосуи и лапотники, майор Прыщ и прохвост Угрюм-Бурчеев пережили Салтыкова-Щедрина". Эти слова, характеризующие отношение писателя к окружающей действительности, дерзнул процитировать В. Лакшин в статье о "Собачем сердце" ("Знамя", 1987, № 6, с. 73).

17. На это сходство обратил также внимание и С. Иоффе. Но и здесь прямое утверждение: "Сталин - про-

тотип Шарикова” – представляется абсурдным. (От редакции: и здесь не все так однозначно. Ниточка каких-то очень личных отношений существовала между Сталиным и Булгаковым, и это еще ждет своего исследователя.) Речь может идти лишь об отдаленной аналогии, ибо Шариков, как и другие персонажи повести, – не чей-либо портрет, а плод вымысла гениального художника.



Кадеты и революционный террор, 1905 – 1907

Беспрецедентный размах террористической деятельности, ставший неотделимой частью русской жизни в период революции 1905–07 годов, заставил все политические партии и группировки определить свое отношение к политическим убийствам. Не составила исключения и конституционно-демократическая партия (кадеты), также известная под названием "Партия народной свободы", официально образовавшаяся в октябре 1905 года. Однако если вполне определенное отношение к террору всех других политических партий и организаций не оставляет места сомнениям и недоговоренностям, взгляд кадетов на политические убийства требует особых разъяснений. При этом отношение кадетской партии к "красному" революционному террору является чрезвычайно важным вопросом: его можно считать ключевым моментом для определения того, как далеко кадеты, которых принято считать либералами, готовы были идти по радикальному пути для достижения своих политических целей.

Несмотря на несомненный интерес, тема эта до сих пор не привлекала внимания исследователей; поэтому в данной статье, затрагивающей в основном период работы двух первых Государственных дум, предпринята попытка опреде-

лить позицию конституционно-демократической партии в отношении красного террора, останавливаясь также на причинах и последствиях кадетской политики в вопросе об экстремизме¹.

РАЗМАХ ТЕРРОРА

В борьбе против царского правительства русские радикалы начали прибегать к террористическим выступлениям уже с шестидесятых годов XIX столетия, и в течение следующих пятидесяти лет красный террор оставался перманентным фактором политической жизни Российской империи. Несмотря на то, что размах, формы и даже риторика политических убийств на протяжении этого периода менялись, основные цели террористов оставались теми же, что и раньше. Социалисты-революционеры (эсеры), как и народовольцы за полвека до них, стремились прежде всего ослабить и парализовать волю властей путем непрекращающихся террористических нападений, надеясь таким образом потрясти фундамент существующего строя и в результате заставить "тиранов" отказаться от власти в пользу "народной демократии"². Под влиянием же марксизма, все сильнее захватывающего умы интеллигенции, социалисты-революционеры пытались вывести "научную" теорию терроризма, который по их новой идеологии должен был не просто запугать правительство или явиться мстью отдельным его представителям, но, главное, — поднять массы на открытую борьбу³. Мало что вышло из этих попыток подвести теоретическую базу под красный террор, остававшийся лишь средством, с

помощью которого революционеры надеялись заставить правительство капитулировать.

Было бы, однако, ошибкой игнорировать то, что известный либеральный экономист и публицист П. Б. Струве проницательно определил как: "новый тип революционера", который "подготавливался... незаметно для общества... в революционные годы и родился в 1905-1906 гг.". Этот новый тип экстремиста предполагал "слияние 'революционера' с 'разбойником', освобождение революционной психики от всяких нравственных сдержек"⁴. Такого революционера можно было встретить преимущественно (хотя и не исключительно) среди анархистов, эсеров-максималистов, а также среди различных мелких и часто не связанных между собой экстремистских групп, члены которых на практике мало чем отличались от обычных уголовников, пытающихся оправдать свои поступки незамысловатой революционной риторикой⁵.

Террор в России достиг своего апогея во время революции 1905-07 годов. Вопреки прева-лировавшему тогда, особенно в либеральных кругах, мнению о том, что "оружие политического насилия будет вырвано" из рук террористов "конституцией-примирительницей"⁶, политические убийства не прекратились с обнародованием императорского манифеста от 17 октября 1905 года, гарантировавшего основные личные свободы всем гражданам, а также передающего законодательную власть Государственной думе. Наоборот, расценив эту уступку как признак слабости, революционеры лишь умножили свои нападения на полицейские и военные власти, государственных служащих, солдат и все прочие категории людей, подпа-

дающих в глазах террористов под довольно широкое определение "сторожевых псов реакции"⁷. В результате, наибольшее кровопролитие последовало уже после обнародования Манифеста 17 октября⁸, когда террористы начали планомерно проводить политические убийства с целью ослабить правительство вплоть до его падения⁹.

Мало кто мог оставаться безучастным свидетелем событий в те дни, "когда несколько крупных случаев террора сопровождалось положительно десятками мелких покушений и убийств среди низших чинов администрации, не считая угроз путем писем, получавшихся чуть ли не всяким полицейским чиновником. Среди террористов начинали попадаться малолетние. Фабрикация бомб приняла гомерические размеры и техника их сделала успехи такие, что теперь положительно каждый ребенок может из коробки из-под сардинок и купленных в аптеке припасов смастерить снаряд, годный для взрыва его няньки. Мастерские бомб открываются во всех городах, бомбы рвут самих мастеров по неосторожности, бомбы швыряют при всяком удобном и неудобном случае, бомбы встречаются в корзинах с земляникой, почтовых посылках, в карманах пальто, на вешалках общественных собраний, в церковных алтарях. Взрывалось все, что можно было взорвать, начиная с винных лавок и магазинов, продолжая жандармскими управлениями (Казань) и памятниками русским генералам (Ефимовича, в Варшаве) и кончая церквями. О необычайном развитии грабежей много говорить не приходится. Бандитизм стал обычным явлением, словно Россия обратилась в Корсику"¹⁰.

Последствия революционного террора хорошо видны даже из отрывочных статистических данных: на протяжении полугодового периода, с октября 1905 по конец апреля 1906 года было совершено 827 покушений на жизнь одних только чиновников Министерства внутренних дел, в результате чего 288 из них были убиты и 383 ранены¹¹. К концу октября 1906 года всего в стране было убито и ранено 3611 государственных служащих различных чинов¹². В таких беспокойных частях империи, как Кавказ, некоторые источники насчитывают в 1905–1907 годах более тысячи всевозможных террористических актов¹³. В Царстве Польском ситуация была не лучше¹⁴. Но самым вопиющим число жертв красного террора было, вероятно, в Прибалтике. Так, в Риге в течение двухлетнего периода, оканчивающегося январем 1906 года, городская полиция потеряла убитыми 110 человек, т. е. более четверти своего состава. Наибольшее количество этих убийств было совершено в 1905 году¹⁵.

Не остановил террористическую деятельность, продолжавшуюся в 1906–1907 годах во всей стране, и созыв Государственной думы в апреле 1906 года; так что к концу изучаемого периода число убитых и раненых государственных служащих достигло приблизительно четырех с половиной тысяч¹⁶. Кроме того, террористы отнюдь не щадили частных граждан: они избивали свидетелей по политическим делам, которые не сочувствовали делу революции, убивали людей, отказывающихся жертвовать им деньги. Особенно же часто погибали те, кто случайно оказывался на пути скрывающегося террориста или на месте взрыва бомбы¹⁷. В результате, в

1905–1907 годах от рук террористов погибло еще и 2180 частных лиц, а 2530 было ранено¹⁸, что составило вместе с пострадавшими государственными служащими более 9000 жертв¹⁹.

Волна террора, захлестнувшая Россию, без сомнения, достигла своей цели – деморализовала власть. Многие государственные служащие не могли скрыть свою беспомощность, граничащую с отчаянием. Как жаловался в письме один полицейский чиновник, ”я совершенно измучен: все ходит ходуном, а силы и средства для борьбы совершенно парализованы – не знаешь, что делать”²⁰. Причину такого отчаяния объяснял другой сотрудник полиции:

”Что творится на белом свете, уму не постижимо... Кажется, весь свет пошел кругом... Каждый Божий день по несколько убийств, то бомбой, то из револьвера, то ножом и всякими орудиями; бьют и бьют, чем попало и кого попало... Так теперь свободно все стачки проходят и никаких арестов и в помине нет, а террористы палят и палят... Это перешло всякие границы. Надо удивляться, как еще не всех перестреляли нас... Уже филеры стали трусить; кое-кто просится отпустить их в отставку... Я думаю, скоро нельзя будет иметь хорошего филера ни за какие деньги и останутся только гнилье”²¹.

Тут же необходимо заметить, что обыватель, тоже немало пострадавший в результате разгула террора, очень скоро стал ”смешивать революционеров с уголовными грабителями”²² и, возмущаясь безнаказанностью террористических выступлений, удивлялся и негодовал, как это ”всех этих мальчишек” не перевешают²³.

ОТНОШЕНИЕ ЛЕВОГО И ПРАВОГО ЛАГЕРЕЙ К ТЕРРОРУ

"Мальчишки", однако, имели за своей спиной большую политическую поддержку, так как революционеры всех направлений, ведомые всепоглощающим желанием приблизить крах царского режима, в целом поддерживали террористов. Выражая несколько менее радикальные взгляды по сравнению с эсеровскими, но во многом разделяя их идеологию и программу, народные социалисты (эн-эсы) и группа трудовиков хотя и стояли за более широкую легальную деятельность и критиковали партию социалистов-революционеров за бойкот Первой думы, все же не были готовы выступить против тактики индивидуального террора²⁴. Называя террористов "славными, знаменитыми мучениками", "возвышенными людьми", "честнейшими и самоотверженнейшими представителями... страны", такие члены думской фракции трудовиков, как Карташев и Тесля, открыто оправдывали террористические покушения против "народных врагов", с которыми "борьба может быть только на живот или на смерть"²⁵.

Подобно трудовикам, социал-демократы (меньшевики) и члены еврейского Бунда хоть и отрицали в теории террористические действия как "ненаучные" и неэффективные, на практике приветствовали красный террор как еще одну возможность ослабить существующий режим²⁶. Считая террористов товарищами по оружию в общей борьбе против "царства тьмы... скованного реакцией", социал-демократы и первый среди них Г. Плеханов не раз заявляли о своем

восхищении перед "героическим Григорием Андреевичем Гершуни", известном в Охранном отделении и среди революционеров руководителе террористической Боевой Организации эсеров²⁷. Более того, на окраинах империи, в таких районах, как Кавказ, местные меньшевики и не отрицали, что хотя "одна хорошая демонстрация больше приближала... /их/ к цели, чем убийство нескольких министров", все их организации прибегали к террору "в случае надобности"²⁸. Лидер грузинского меньшевистского движения Ной Жордания также признавал, что социал-демократы прибегали к террору как к средству "создания паники в полицейских кругах"²⁹. Есть к тому же сведения, что и члены Бунда участвовали не только в том, что традиционно считалось вооруженной самообороной против погромов, но и в чисто революционных террористических актах против правительства и его служащих³⁰.

Большевики, в свою очередь, в теории рассматривали террористические выступления как часто "несвоевременные" и "нецелесообразные". Но вместе с тем Ленин еще в 1901 году спешил оговориться: "Принципиально мы никогда не отказывались и не можем отказываться от террора"³¹, как никогда не отказывался он "принципиально" от ограблений банков, вооруженных нападений и других видов экспроприаций³². Более того, когда в 1905 году Ленин почувствовал нарастание революции, он открыто призвал к децентрализованной террористической деятельности, предлагая создавать "отряды революционной армии... всяких размеров, начиная от двух-трех человек... /которые/ должны вооружаться сами, кто чем может

(ружье, револьвер, бомба, нож, кастет, палка, тряпка с керосином для поджога...)»³³. Эти группы по существу ничем не отличались от террористических "боевых бригад" и "летучих отрядов" эсеров.

Внутри Центрального комитета объединенной в то время РСДРП Ленин, Красин ("Никитич") и Богданов составили особый секретный комитет, и эта "малая троица", как их позже прозвали в партии, занималась общим руководством боевых выступлений и многочисленных экспроприаций, "исполнители которых набирались среди молодежи некультурной, но преисполненной революционного усердия и готовой на все. Грабили почтовые отделения, вокзальные кассы, иногда самые железнодорожные поезда, устраивая предварительно крушения"³⁴. А в августе 1906 года большевистский орган "Пролетарий" открыто призвал:

"Мы советуем всем многочисленным боевым группам нашей партии прекратить свою бездеятельность и предпринять ряд партизанских действий... с наименьшим 'нарушением личной безопасности' мирных граждан и с наибольшим нарушением личной безопасности шпионов, активных черносотенцев, начальствующих лиц полиции, войска, флота и так далее..."³⁵

Таким образом, весь левый фланг оппозиционного движения более всего был заинтересован в максимальной эффективности своей борьбы с правительством, и следовательно, ни одна из организаций этого лагеря не была готова отвергнуть террористические методы по моральным соображениям.

По-иному относились к террору центральные и правые партии ("Союз 17 октября" и кон-

серваторы), в риторике которых именно нравственная сторона была важнейшим аргументом, используемым против любых политических убийств. Сознывая дестабилизирующую силу ежедневных покушений, подрывающих сам принцип законности и порядка и являющийся причиной растущей анархии в стране, октябристы и консерваторы, несмотря на несхожесть их политических позиций, считали "всякое убийство, откуда бы оно ни исходило, столь возмутительным", что "долг и честь... требуют скорейшего осуждения террора"³⁶. Точно так же профессор В. Д. Кузьмин-Караваев, думский представитель небольшой партии Демократических реформ, стоящий чуть левее октябристов, не преминул заявить: "Я скажу, что решительным образом осуждаю убийства с левой стороны: я осуждаю всякую кровь!"³⁷ Единственной политической организацией, не пожелавшей публично разъяснить свою официальную партийную позицию по отношению к красному террору, были кадеты: заявляя, с одной стороны, что "партия народной свободы не сочувствует принципу политических убийств", они, однако, из раза в раз отказывались "провозгласить... моральное осуждение политическим убийцам"³⁸.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ДЕМОКРАТЫ И ТЕРРОР ДО МАНИФЕСТА 17 ОКТЯБРЯ

Конституционно-демократическая партия, гордящаяся наличием среди своих членов цвета русской интеллигенции, действительно имела в своих рядах необычно большое число одаренных

людей, игравших видную роль в науке, культуре и политической жизни страны³⁹. Этих журналистов, публицистов, профессоров, адвокатов и других представителей интеллектуальных профессий вряд ли было бы справедливо считать кровожадными злодеями, приветствовавшими убийства ради убийств. Не менее важно и то, что среди конституционных демократов были такие, кто явно не разделял двойственную позицию партии по отношению к террору. Однако можно лишь гадать, сколько именно насчитывалось этих внутрипартийных "диссидентов", поскольку чаще всего они не решались нарушать партийную дисциплину и в лучшем случае готовы были высказывать в довольно общих выражениях свой личный протест против кровопролития⁴⁰.

Но, что самое важное, определяя официальную политику партии, как целое, в вопросе о политических убийствах, вряд ли имеет смысл полагаться исключительно на высказывания ее отдельных членов: сами по себе возгласы возмущения различных представителей партии кадетов против крови, насилий и анархии вообще мало о чем говорили, тем более, что даже крайне левые партии и группировки, кроме, может быть, некоторых анархистов, никогда не заявляли о поддержке террора ради террора⁴¹. Социалисты-революционеры, например, прилагали большие усилия, чтобы убедить думскую аудиторию в том, что они являются противниками "вообще всякого кровопролития" и что для них "нет ничего ценнее человеческой жизни"⁴². Ясно поэтому, что общественная позиция кадетской организации по отношению к политическим убийствам была трагическим во-

просом, который партийное руководство должно было решать для партии в целом, независимо от личных убеждений отдельных ее членов.

Кадетская политика по отношению к террору не являлась новой проблемой к моменту официального создания партии. До октября 1905 года предшественники кадетов, члены полуформальной организации российских конституционалистов, известной под названием Союза Освобождения – хоть и называли себя умеренными и отказывались участвовать в актах насилия, вполне разделяли основную задачу радикалов: "приложить немедленно все усилия, чтобы уничтожить разбойничью шайку, которая узурпировала государственную власть"⁴³. Преследуя эту цель, в сентябре-октябре 1904 года на конференции в Париже представители левого крыла Союза Освобождения заключили соглашение с эсерами и некоторыми другими социалистическими организациями "для совместных действий"⁴⁴. На данном этапе большинство лидеров Союза безусловно поддерживали тактику террора, так как по мнению будущего руководителя кадетской партии П. Н. Милюкова политическая ситуация была слишком серьезной, чтобы допускать чрезмерную щепетильность в выборе средств⁴⁵. Есть достаточно веские основания утверждать, что либералы, считая террор эффективным орудием в политической борьбе, снабжали эсеров деньгами⁴⁶. Ведь по словам князя Петра Долгорукого, будущего члена кадетского Центрального комитета, "политическая весна" Святополка-Мирского была обязана своим существованием бомбе", которая в июле 1904 года убила министра внутренних дел Плеве⁴⁷. И в то время,

как шансы на победу революции постоянно возрастали, руководители Союза Освобождения все больше склонялись к тому, чтобы придерживаться тактики, предложенной Милюковым в июне 1905 года: "все средства теперь хороши против той ужасной опасности, которая вытекает из самого факта существования правительства. И все средства должны быть испробованы"⁴⁸.

Манифест 17 октября не заставил кадетов принять более умеренную линию, так как правительство все же отказывалось идти навстречу таким их требованиям, как отмена исключительных законов и увольнение всех административных чинов, которые, по заявлениям кадетов, своими предшествующими действиями вызвали "народное негодование". Не соглашался царь и на издание избирательного закона для созыва Учредительного собрания и — что было особенно важно для кадетов — на формирование нового либерального Кабинета Министров, состоящего исключительно из представителей "общества"⁴⁹. И поэтому в ответ на публикацию Манифеста Милюков, воодушевленный заметной растерянностью правительства и теми успехами, которых освободительное движение сумело достигнуть до сих пор, в огромной степени благодаря экстремистам, заявил от лица новосформировавшейся партии, что "ничего не изменилось и война /с правительством/ продолжается"⁵⁰.

Уже на своем первом съезде, проходившем в "дни свобод", кадеты сочли нужным подтвердить солидарность с "союзниками слева", спеша занять свое место среди революционных партий "на том же левом крыле русского по-

литического движения”⁵¹. А вскоре, когда в апреле 1906 года на Третьем партийном съезде кто-то с трибуны объявил, что в Киеве террористами убит генерал-губернатор граф А. П. Игнатьев, ряд кадетских депутатов встретил это сообщение аплодисментами⁵².

Кадетов, следовательно, никак нельзя исключать из революционного лагеря и считать хранителями идеалов либерализма только лишь на том основании, что они не были социалистами (в традиционном смысле этого слова)⁵³ и лично не участвовали в кровопролитии. К тому же, некоторые члены кадетского ЦК открыто заявляли, что считают себя революционерами, что отречься от революции, значит отречься от самих себя и что тот, кто желает бороться с революцией, должен выйти из партии⁵⁴.

КАДЕТСКАЯ ТАКТИКА И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Радикализация политической жизни России была, несомненно, выгодна кадетам: как объяснял впоследствии бывший видный партийный деятель В. А. Маклаков, угроза усиления революции ”могла заставить власть идти на уступки”⁵⁵. Прежде всего, кадеты надеялись добиться того, что, по-видимому, было их ближайшей целью – установления парламентской системы путем создания так называемого ”ответственного министерства”, подотчетного Думе и состоящего из представителей этой законодательной палаты⁵⁶. Если бы освободи-

тельному движению удалось вырвать эту уступку у ослабевших властей, конституционные демократы выиграли бы от этого более, нежели любая другая политическая группировка. С одной стороны, почти не было шансов на то, чтобы царь согласился включить в свой новый Кабинет членов лево-революционных партий. В то же время, важнейшие портфели, вероятно, не могли бы быть распределены и между октябристами, т. к. такой шаг вряд ли бы удовлетворил и успокоил думское большинство (кадетов и трудовиков). Но именно это желание получить согласие на учреждение кабинета, где важнейшие посты были бы в руках у кадетов, заставляло последних сохранить за собой возможность казаться умеренными реформаторами, осуждающими всякое насилие⁵⁷. Партийные руководители, ведя эту, на первый взгляд чрезвычайно выгодную, политическую игру, естественно должны были быть крайне осторожными в своем маневрировании между властями и экстремистами, надеясь убедить первых в том, что партия народной свободы являлась единственной группировкой, способной положить конец анархии в стране, и одновременно желая контролировать и использовать последних, с коими кадеты, видимо, предполагали порвать сразу же по установлении парламентского режима в России⁵⁸.

Однако, не решаясь признать свою временную солидарность с террористами, которые выполняли всю грязную работу, необходимую для подрыва правительства, кадетские руководители вместе с тем боялись скомпрометировать себя в глазах общества, оказавшись хоть в чем-то лояльными союзниками существующего строя.

По словам бывшего многолетнего члена кадетского ЦК А. В. Тырковой-Вильямс, "очень уж были обострены отношения между властью и общественным мнением. Одно появление Столыпина на трибуне сразу вызывало кипение враждебных чувств, отметало всякую возможность соглашения"⁵⁹.

Таким образом, становится ясно, что несмотря на все уверения, будто "кадеты действуют в соответствии с законом", эта партия "не могла заставить себя публично отречься от политических убийств отчасти потому, что ей нужна была угроза этих убийств, нависающих над правительством, а отчасти и потому, что она боялась обидеть своих радикальных избирателей"⁶⁰. Проявления этой солидарности с экстремистами наиболее ясно видны в кадетской политике по вопросам о политической амнистии и смертной казни и в риторике, используемой кадетами для характеристики террористических актов и их исполнителей, а также в настойчивом и систематическом отказе осудить революционный террор.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АМНИСТИЯ И СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

"Полную амнистию по так называемым политическим... преступлениям" кадеты считали "безусловно необходимой и особенно настоятельной мерой"; и поэтому в день открытия думской сессии, 27 апреля 1906 года, когда ситуация в стране требовала немедленной, продуктивной парламентской работы для разрешения наболевших проблем, именно этот вопрос

был поднят партийными представителями первым⁶¹. А на следующем заседании кадеты уже открыто заявили, что им не избежать конфликта с правительством, "если амнистия не будет дана"⁶².

Трудно допустить, что кадетские призывы освободить "тех людей, которые во имя своих стремлений идут жертвовать своей жизнью"⁶³, были вызваны лишь гуманными мотивами: более глубокий анализ не оставляет сомнений в том, что наряду с явным желанием ублажить радикальную часть своих избирателей, кадеты пытались добиться политической амнистии именно для террористов. Это видно из кадетских высказываний в первые думские дни, прежде всего потому, что частичную политическую амнистию царь даровал уже 21 октября предыдущего года⁶⁴. Все же представители Думы вместе с уполномоченными Государственного совета подали прошение о помиловании большего числа политических преступников. Но существенно то, что две эти палаты не могли договориться между собой, какие именно категории преступников должны подпасть под новую царскую амнистию. В то время, как огромным большинством голосов Государственный совет принял либеральную резолюцию, испрашивающую помилование практически для всех категорий политических преступников, кроме террористов⁶⁵, Дума, контролируемая кадетами, отказалась поддержать это прошение. В думских речах и на страницах кадетской прессы девизом была "всеобщая амнистия"⁶⁶. Иными словами, в отличие от прошения Государственного совета, требование кадетами амнистии на практике означало амнистию именно для террористов.

Милюков признал это только много лет спустя, когда заявил, что во время первой русской революции кадеты "не могли бы отказать в амнистии террористам"⁶⁷.

Для конституционных демократов требования политической амнистии были тесно связаны с настойчивыми попытками добиться отмены смертной казни. Клеймя правительство, представители которого, по их словам, "утопили Россию в крови" и "покрыли страну позором бессудных казней, погромов, расстрелов и заочений", такие неутомимые думские ораторы как вице-председатель кадетского ЦК В. Д. Набоков заявляли, что "страна жаждет полной политической амнистии", и настаивали на том, что "смертная казнь никогда и ни при каких условиях не может быть назначаемая"⁶⁸. Как и в вопросе о политической амнистии, кажется маловероятным, что эти зажигательные речи против репрессивных мер властей мотивировались одним лишь искренним протестом против смертной казни. Будь политика кадетов основана исключительно на принципах гуманизма, они, вероятно, не отказались бы поддержать думскую платформу октябристской фракции, которая была вполне солидарна с кадетами как в вопросе об амнистии, так и в вопросе о смертной казни, но одновременно призывала: "Если мы обращаемся с ходатайством об амнистии вверх к монарху, то мы с такой же просьбой об амнистии обратимся вниз /к террористам/ и попросим их не применять смертной казни, которая точно такой же позор для страны, как и смертная казнь сверху"⁶⁹.

Кроме того, кадеты в принципе не были про-

тив смертной казни и репрессий. Когда в личной беседе с Милюковым П. А. Столыпин заметил, что предполагаемое кадетское министерство не имеет опыта в управлении и ввергнет страну в пучину анархии, Милюков, по показанию авторитетного источника, ответил:

”Этого мы не боимся... А если бы революционное движение разрослось, то думское правительство не остановится перед принятием самых серьезных и решительных мер. Если надо будет, мы поставим гильотины на площадях и будем беспощадно расправляться со всеми, кто ведет борьбу против опирающегося на народное доверие правительства”⁷⁰.

Неоднократно утверждая, что растущая террористическая деятельность прекратилась бы сразу после приостановки правительственных репрессий и казней⁷¹, кадеты в действительности имели мало оснований предполагать, что такая взаимосвязь между акциями властей и террором существовала. Печальный опыт России после обнародования Манифеста 17 октября, который не только не приостановил, но косвенно даже усилил кровопролитие в стране, должен был убедить кадетов (как убедил он многих в правительственных кругах), что бессмысленно ожидать от экстремистов отказа от террора в благодарность за новую уступку: отмену смертной казни.

Очевидно, что для конституционно-демократической партии отношение к смертной казни стало сугубо тактическим вопросом: кадетское руководство находило политически выгодным постоянно ставить власть в положение обвиняемого и настаивать на отмене смертной казни, зная, что правительство считало это прежде-

временным шагом, который, во время разгула кровавой анархии в империи только ослабил бы существующий режим, лишив его сильнодействующего средства в борьбе с терроризмом⁷². Неудивительно поэтому, что современник заключил: "Террористам... при первой возможности кадеты требуют полной амнистии; ради террористов они добиваются отмены смертной казни, ибо без террористов кадеты бессильны в борьбе с самодержавием и властями"⁷³.

ТЕРРОРИСТЫ В КАДЕТСКОЙ РИТОРИКЕ

Наряду с попытками отменить смертную казнь и добиться амнистии для террористов такие видные кадеты, как член ЦК Н. Н. Щепкин, не останавливались перед признанием "нравственной солидарности" со всеми "борцами за свободу", заявляя, что каждый участник освободительного движения, включая самих кадетов, "по мере сил своих старался поколебать" авторитарный режим, который и был в конечном итоге сметен Манифестом 17 октября⁷⁴. Член думской фракции кадетов И. Л. Шраг также с благодарностью признавал общий долг всех врагов царского режима, в том числе и кадетов, перед террористами, которые "не жалели своей жизни, которые не жалели себя для того, чтобы добиться той дорогой всем... свободы, в даровании которой им принадлежит громадная выдающаяся роль"⁷⁵. Кадеты, таким образом, превозносили экстремистов, заявляя устами того же Щепкина, что они "не считают больше так называемых политических преступников преступниками", поскольку те "боро-

лись против строя, уже ниспроверженного фактически", последние следы которого должны быть вскоре уничтожены Думой⁷⁶.

Кадеты, правда, не готовы были осудить террористическую деятельность, продолжавшуюся и после установления конституционных начал в России. Напротив, они многократно заявляли, что понимают политические убийства и даже считают, что в основе их может лежать "известная социальная целесообразность", так как эти террористические акты были направлены против тех, кого революционеры и общество считали реакционерами и "врагами народа"⁷⁷.

Имея в лице властей общего с радикалами врага, кадеты явно пытались отвлечь внимание от террористов и представить правительство в роли обвиняемого. Так, В. Д. Набоков, выступая в Думе 26 мая 1906 года, клеймил правительство как убийц⁷⁸, а Милюков многократно высказывался в том смысле, что террористическая деятельность была "логична" при сложившихся обстоятельствах, когда террористы являлись лишь невинными жертвами тирании и беззакония, идущего сверху⁷⁹. Утверждая, что правительство первым начало прибегать к репрессивным мерам, провоцируя тем самым террористов на ответные шаги, Шраг засыпал обвинениями государственных служащих, "которые ни перед чем не останавливались... чтобы удержать свою власть", и защищал террористов, восклицая: "Как же вы хотите, чтобы они спокойно относились и не отвечали тем же?"⁸⁰

Кадеты, таким образом, пытались внушить публике, что все убийства с политической целью совершались в ответ на зверства правительственных функционеров, и оправдывали тер-

рористов тем, что (по словам члена кадетской фракции в Думе Огнева) "безнаказанность разных административных насильников их возмущает, перспектива дальнейших ужасов от какого-нибудь Луженовского и других устрашает их, и, не имея других средств мирного воздействия на этих извергов, они решаются на преступления"⁸¹.

Такие утверждения, однако, вряд ли можно назвать добросовестным описанием сложившейся ситуации в России, и кадеты не могли это ясно не сознавать. Все газеты в то время были переполнены информацией, аналогичной той, которую сообщил бывший эсер-террорист много лет спустя, рассказывая о своем удачном покушении на самарского губернатора в июле 1906 года:

"Что за человек был самарский губернатор и каково было его служебное поприще, я не знал; да это в то время было не важно: он был бы, вероятно, убит, если бы был даже самым лучшим губернатором"⁸².

Кроме того, в Думе кадеты часто получали сообщения о нападениях и кровавых расправах над ни в чем не повинными гражданами. Известен, например, инцидент в Варшаве 14 ноября 1905 года, когда анархисты-коммунисты бросили две бомбы в переполненное кафе только лишь для того, чтобы видеть, "как подлые буржуа будут корчиться в предсмертных страданиях"⁸³. Не менее характерен и эпизод, когда, желая отомстить своему бывшему товарищу, давшему откровенные показания в полиции, революционеры "решили умертвить его отца в уверенности, что на похоронах последнего будет присутствовать и сын, которого,

пользуясь таким случаем, удастся убить”⁸⁴.

Кадеты были осведомлены и о том, что известное число террористических покушений производились людьми, нанятыми за деньги и совершенно не интересовавшимися политическими мотивами различных революционных комитетов, готовых платить за услуги⁸⁵. Часто то, что принято было считать ”идеализмом политической борьбы”, со временем деградировало в чистую уголовщину. Так, небезынтересен состав одной анархической группы: беглый матрос, убивший священника и ограбивший церковь, его сожительница – известная воровка, еще один бывший матрос, убивший одиннадцать человек, и его любовница – зарегистрированная проститутка⁸⁶. Не было ничего необыкновенного и в случае с террористическим отрядом (кстати, действовавшим изначально под эгидой большевистского Центра), который во второй половине 1906 года начал ”пошаливать”:

”Когда дружина предложила партии часть ограбленных ею на фабрике денег (кассир был при этом убит), Комитет наотрез отказался и призвал дружинников к порядку. Но они уже быстро катились вниз и скоро докатились до ”разбойных нападений обыкновенного уголовного типа”. Имея постоянно крупные деньги, боевики начали заниматься кутежами, причем часто попадались во время кутежей в руки полиции”⁸⁷.

Становится, таким образом, понятно, что лишь желание кадетов отмежеваться от правительства и одновременно поддерживать революционное движение заставляло их объявлять всех террористов вынужденными героями, возмущенными преступлениями властей, не умеющими и

не желающими "слова и чувства отделять от действий"⁸⁸.

В своей пропагандной кампании кадетские ораторы и публицисты, казалось, готовы были использовать любые сомнительные журналистские и пропагандистские приемы, такие, например, как сравнение Набоковым революционных анархистов с "величайшим анархистом - гр. Львом Николаевичем Толстым"⁸⁹. В кадетских речах террористы не только были оправданы в своих действиях самим существованием ненавистного правительства, но и назывались самыми честными и принципиальными российскими гражданами, не желающими идти на компромиссы там, где другие - послушные рабы-готовы были терпеть. Так, Огнев (вполне серьезно и очень красноречиво) доказывал, что если его слушатели попытаются проанализировать личные качества террористов "как рисуют их нам биографы или товарищи по заключению, то окажется, что... /они/ вовсе не злодеи по природе. По натуре своей это люди особенной нравственной чуткости, чуткости большей, чем у обыкновенных ординарных людей", которые проходят мимо или просто болтают о социальной несправедливости⁹⁰. При этом "люди особенной нравственной чуткости" могли в утешение и назидание разделаться с выдавшим их товарищем, оставив в большой корзине "разрезанный на части труп человека, с сильно обезображенным лицом, на котором были отрезаны уши и нос. Труп подвергся, в значительной степени, разрушительному действию негашеной извести, которая в изобилии находилась в корзине"⁹¹.

Кадеты предлагали своим слушателям отно-

ситься к террористам как к невинным жертвам существующего режима, часто заходя настолько далеко, что изображали их мучениками и чуть ли не святыми. Несомненно, не было случайностью то, что партийные ораторы напоминали аудитории в Думе об известном стихотворении в прозе И. С. Тургенева "Порог", в котором юная революционерка представлена, с одной стороны, "дурой", а с другой - "святой" (в споре, где сам автор явно склоняется ко второму образу)⁹². Напоминая, как невероятно тяжело было решиться тургеневской героине на преступление, кадет Огнев (который, заметим, был священником) заявил с думской трибуны: "Мне, господа, в этой девушке представляются знакомые черты некоторых политических русских женщин. В лице этой девушки я узнаю черты и Засулич, и Волкенштейн, и Измайлович, и Спиридоновой, и других", - явно давая понять, что все эти террористки должны восприниматься как мученицы, а не как преступницы⁹³.

Столь же многозначительна была и статья в кадетской ежедневной газете "Речь", в которой специальный корреспондент В. Азов, предлагая читателям сочувственное описание "Маруси" Спиридоновой, только что совершившей убийство, резюмирует: "Жизнь... /ее/ кончилась. И началось житие"⁹⁴, - нарочно используя слово "житие", употребляющееся лишь по отношению к святым. А кадет И. Пустошкин в своих высказываниях пошел еще дальше, сравнивая экстремистов с Христом:

"Вспомните, что Христос тоже признан был преступником и предан позорной смертной казни на кресте. Прошли года и этот преступ-

ник — Христос — завоевал весь мир и стал образцом добродетели. Отношение к политическим преступникам является подобным же актом насилия власти по отношению к людям, не выносящим строя”⁹⁵.

Конституционные демократы также находили удобным для своих целей заострять внимание на таких вопросах, как правительственные акции против террористов в возрасте до двадцати одного года и считавшихся поэтому малолетними. Кадеты предпочитали не называть эту категорию экстремистов “террористами” и публично нападали на правительство за гонения на “детей”⁹⁶. Такие думские ораторы, как Бобин и Н. Каценельсон с пафосом восклицали, что “несчастливая девочка”, только год как окончившая гимназию, была приговорена к смерти (не упоминая о том, был ли приговор приведен в исполнение), или что пятнадцатилетнего мальчика, пытавшегося убить полицейского офицера, *по слухам*, истязали местные власти⁹⁷.

Без сомнения, кадетам было хорошо известно, каким несчастьем для страны были многочисленные несовершеннолетние террористы⁹⁸, но затрагивали этот очень щекотливый вопрос представители партии лишь настолько, насколько это было необходимо, чтобы вызвать сочувственное отношение аудитории. Описывая мученичество террористов в натуралистичных, часто неподтвержденных и чрезвычайно преувеличенных, деталях, кадеты явно желали скомпрометировать правительство⁹⁹. Между тем, около двадцати двух процентов всех эсеров-террористов были в возрасте от пятнадцати до девятнадцати лет, а сорок пять процентов — от

двадцати до двадцати четырех¹⁰⁰. Среди террористов-анархистов процент несовершеннолетних был еще выше: некоторым из наиболее активных членов крупнейшей в стране террористической группы "Черное знамя" было по 15-16 лет, и "история этой молодежи была отмечена отчаянным фанатизмом и беспрестанным кровопролитием"¹⁰¹. Часто, пользуясь общей анархией и безнаказанностью, ученики, вооруженные кинжалами, бомбами и, по крайней мере в одном случае, серной кислотой¹⁰², совершали покушения на нелюбимое начальство своих гимназий и семинарий. Поэтому лишь частично прав историк, утверждающий, что "терроризм был особенно привлекателен для молодежи" вследствие широких "возможностей для героического самопожертвования"¹⁰³, тем более, что иногда революционные организации нанимали пятнадцатилетних и шестнадцатилетних подростков для участия в террористических операциях (платя им за это чуть ли не по пятьдесят копеек)¹⁰⁴. А "боевики", когда шли "на работу, т. е. на убийство или грабеж", часто не имели при себе оружия и бомб, а давали нести детям и забирали лишь в момент совершения террористического акта¹⁰⁵.

ОТКАЗ ОСУДИТЬ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТЕРРОР

Отказ кадетов осудить революционный террор полностью соответствовал всей предыдущей партийной тактике и лишь доказывал то, что Тыркова-Вильямс и другие партийные деятели впоследствии определяли как "жуткое, не-

здоровое" единомышленники, "с которым вся оппозиция, и социалисты, и либералы, отказывались осудить террор"¹⁰⁶. Еще до созыва Первой Государственной думы и во время ее начальных заседаний, когда правительство казалось чрезвычайно ослабленным, а кадеты были на вершине своего политического престижа, партийные деятели даже не находили нужным скрывать свою подлинную точку зрения, прямо отказываясь осудить политические убийства¹⁰⁷. Впоследствии при каждом проявлении террористической деятельности, аккуратно фиксирующейся в их периодике¹⁰⁸, кадеты делали все, от них зависящее, чтобы обойти вопрос о своем отношении к политическим убийствам слева. Освещая в печати какое-нибудь покушение, кадетские публицисты предпочитали давать лишь "голые факты" и - самое большее (обычно, когда среди пострадавших было особенно много случайных людей) - высказывали порицание кровопролитию вообще¹⁰⁹. Однако и в этих случаях они никогда не забывали тут же напомнить, что ответственным за анархию в России является правительство¹¹⁰. При этом ни в "Речи", которая, как принято считать, стояла на позициях "чистого либерализма"¹¹¹, ни в официальном кадетском еженедельнике "Вестник партии народной свободы" не было напечатано ни одной статьи, прямо и недвусмысленно осуждающей красный террор.

В то же время отношение кадетов к кровопролитию не было постоянным, менялось от случая к случаю и, казалось, в огромной степени определялось политическими взглядами как убийцы, так и его жертвы. Это становится достаточно очевидно, если сравнить реакцию ка-

детов на революционный террор и на политические убийства справа. Конституционные демократы часто подчеркивали особую опасность, исходящую справа, и постоянно выступали против "Союза русского народа" и других монархических организаций и обществ. В своей кампании против монархистов кадеты неоднократно бросали обвинения в "черносотенстве" и в намерении бороться против революции такими кровавыми средствами, как убийство своих политических противников, особенно энергично выступающих против правительства. Такие попытки, в отличие от попыток, исходящих из революционного лагеря, кадетская партия резко осуждала.

В сравнении с широко распространенными революционными покушениями, нападениями и экспроприациями, террористические действия справа были относительно редки. Это, однако, отнюдь не мешало кадетам настаивать в своей прессе на том, что " 'черносотенцы' пролили в России такую массу человеческой крови и совершили столько злодеяний, что революционерам-террористам и анархистам за ними никогда не угнаться"¹¹². Лишь в нескольких нейтральных по тону строках извещая читателей о покушениях на губернаторов и министров, кадетская "Речь" заполняла свои номера детальными сообщениями об убийстве бывшего думского депутата кадета Михаила Герценштейна, страстно протестуя против "таких безумно-постыдных средств борьбы", "дикого и варварского насилия", "предательски-гнусного... злодейского убийства"¹¹³. Понятно, что не стоило ожидать от кадетов объективности и выражения равного негодования по поводу

убийства какого-нибудь "реакционного бюрократа", с одной стороны, и выдающегося члена собственной партии, с другой. Но когда в течение трех дней были убиты три инженера, "Речь" резко осудила "бессмысленное, слепое, никому не нужное" убийство первых двух, считавшихся либералами, и лишь кратко и довольно безразлично отметила смерть третьего, чья непопулярность среди рабочих была хорошо известна¹¹⁴.

Какое-то время кадеты умело лавировали и вполне удачно удерживались на этой двойственной позиции в вопросе о терроре. Однако прямые дебаты на эту тему во Второй думе весной 1907 года в конечном итоге не могли не показать со всей ясностью, что кадеты откровенно не желали осудить революционный террор.

Вскоре после созыва второй думской сессии кадеты, не имея больше прежней силы и влияния, которыми они обладали в Первой думе, стали подвергаться нападкам. И консерваторы, и октябристы, желая окончательно подорвать позиции своих ближайших политических противников слева, публично обвинили конституционных демократов в том, что они "потакают и учат" политическим убийствам с целью еще больше усилить революционную стихию; "революция вас питает, она - ваши корни. Без нее вы ничего не значите", - бросали октябристы кадетам в Думе¹¹⁵.

Позиция октябристов и консерваторов безусловно была сильной: даже такие умеренные кадеты как А. И. Шингарев, или один из наиболее консервативных членов кадетского ЦК В. А. Маклаков все-таки критиковали правитель-

ство за его действия против "несчастливых террористов и экспроприаторов" и клеймили позором режим, позволяющий вести людей "на виселицу, как скотину на бойню"¹¹⁶. Партии "правого сектора" Думы заявляли на это, что, если кадеты выступают против насилия, можно было бы ожидать от них также и осуждения политических убийств слева. Вместо этого, как отмечал представитель правых в Думе В. В. Шульгин, "в газетах этой партии мы никогда не найдем ни одной строчки, сказанной в осуждение этим убийствам. Нет! Нам всегда говорят, что это все герои, все борцы за свободу"¹¹⁷. Да и сами кадеты признавали, что их партия "никогда не позволяла себе ругаться над террористами"¹¹⁸.

Положение кадетов еще больше усложнялось и ослаблялось тем, что умеренные и консерваторы в Думе готовы были признать военно-полевые суды, учрежденные для борьбы с экстремистами, далеко не идеальной системой юриспруденции и протестовали против политических убийств, откуда бы они ни исходили¹¹⁹. Кадетов они настойчиво уговаривали занять ту же позицию:

"Будьте последовательны, будьте искренни, вынесите отсюда, с этой трибуны, осуждение... террористическим актам... пожалейте наш русский народ, который также от этих актов весьма стонет и тяжело страдает... Неужели из одного вашего упрямства вы не желаете прибавить /слова осуждения/?"¹²⁰

Но со стороны кадетов это было не упрямство, а следствие хорошо продуманной тактики; и вопрос о поддержке или осуждении террора для кадетов был столь важным, что виднейший член

партии И. И. Петрункевич, считал, что "лучше для партии быть уничтоженной", чем пережить "моральное уничтожение", вследствие осуждения ее революционного террора, что может быть расценено как поддержка правительства¹²¹. Таким образом, категорически отрицая в партийной прессе "невероятные" обвинения своих недоброжелателей в том, что кадеты симпатизируют "убийствам", конституционные демократы в то же время упрямо продолжали свою политику отказа осудить террористические акты¹²². Однако, поскольку открытое заявление о солидарности с экстремистами в глазах правительства сразу же сделало бы из кадетов революционеров, партийные руководители пытались всеми силами избежать любых прямых высказываний о красном терроре. В Думе поэтому кадеты отчаянно искали предлога, чтобы прекратить или, по крайней мере, отложить все обсуждения вопроса о политических убийствах, т. к. дискуссия на эту тему неизбежно выявила бы их партийную позицию. Именно по этой причине кадетская фракция речами Шингарева и А. А. Кизеветтера пыталась убедить своих слушателей в том, что Дума — не место для осуждения кого-либо или чего-либо:

"Мы не призваны сюда писать резолюцию, не призваны сюда говорить ничего не стоящие жалобы и слова, сколько бы нас ни упрашивали, мы не станем на этот совершенно не подходящий для Думы путь"¹²³.

Стоит, однако заметить, что ранее, когда в Думе обсуждался "террор справа", кадеты отнюдь не протестовали, а во время дебатов по вопросу о смертной казни в мае 1906 года,

устами кадетского депутата Сипягина, доказывали обратное: "Господа! Неужели перед человеческой жизнью можно говорить о парламентской форме? Люди умирают, а мы будем парламентские формы вырабатывать"¹²⁴.

Кадетская "избегательная" тактика, однако, не могла длиться вечно, и в начале апреля 1907 года 32 члена Думы официально потребовали, чтобы вопрос об осуждении террористической деятельности был поставлен на повестку дня¹²⁵. Хотя особенно настаивали на поднятии вопроса о политических убийствах думские консерваторы и умеренные, представители социалистического сектора в Думе заявили, что они "ничего не имеют против" обсуждения этого вопроса, а на самом деле, казалось, только и ждали возможности лишний раз обрушиться на правительство с трибуны и выразить свою поддержку террористам¹²⁶. Фракция же кадетов, оказавшаяся между двух огней, решила все-таки не отступать от своей политики неосуждения красного террора и в течение шести недель снова и снова голосовала за то, чтобы отложить все думские дебаты по этому вопросу¹²⁷.

Старания кадетов увенчались успехом: вскоре все те, кто еще осмеливался поднимать вопрос о терроре на думских заседаниях, публично осмеивались и с издевкой уведомлялись, что они ни за что не смогут заставить Думу осудить политические убийства¹²⁸. Так продолжалось до 15 мая 1907 года, когда кадеты официально и окончательно объявили о своем отказе рассмотреть возможность принятия декларации "о порицании убийств, террора и насилий"¹²⁹. Им, таким образом,

удалось снять этот вопрос с повестки дня Второй думы, но, добившись этой победы, кадеты не сумели достойно ответить на вызов октябристов: "Теперь у партии народной свободы является случай доказать, что она партия конституционная, а не революционная..."¹³⁰

ИТОГИ

Политика полускрываемой и осторожной поддержки революции, особенно ярко выраженная по отношению к терроризму, в конечном итоге все же принесла конституционно-демократической партии больше поражений, чем побед. Прежде всего нужно сказать, что партийная тактика по вопросу о терроре отнюдь не осталась непонятой; наоборот, она почти ни для кого не была секретом, вновь и вновь давая повод для критики кадетов. Экстремисты, осознав двойственность кадетской позиции, поносили кадетов как организацию, которая звала "других к действиям, от которых сама... отказывается, и за которые она не берет на себя ответственности", как партию, "имеющую как будто свою программу, но рассчитывающую для проведения ее в жизнь на чужие силы, а свои собственные действия сводящую к более или менее нерешительным переговорам с правящими сферами, к своего рода уговариванию их сдаться на капитуляцию"¹³¹. Консерваторы также утверждали, что разгадали партийную сущность кадетов, считая, что эта партия - "голова и хвост революции"¹³². И, наконец, правительство неоднократно выставляло на вид

истинные цели кадетов. Так премьер-министр П. А. Столыпин, несмотря на многократные попытки сотрудничества с умеренными кругами, был до того возмущен поведением кадетов, что отзывался о них, как о "шайке... участники которой прикидываются мирными, безобидными в общежитии, но не останавливаются в своей преступной деятельности ни перед широко организованным обманом, ни перед безжалостным душегубством, когда того требуют обстоятельства"¹³³.

Не менее серьезный ущерб кадетам принесло и то, что поддержка ими террористической деятельности явилась причиной раскола в самой партии, потерявшей довольно большое число людей, которые могли бы стать лояльными сторонниками кадетской программы, при условии, что средства для проведения ее в жизнь были бы менее радикальными. Многие потенциальные члены кадетской партии не смогли подчинить партийной тактике и дисциплине свое искреннее отвращение к кровопролитию, предпочтя остаться вне кадетской организации, иметь возможность открыто выражать свой протест против политических убийств и даже критиковать конституционно-демократическую партию за "недостаток решительности в осуждении террористических актов"¹³⁴. Такой выдающийся политический деятель, как Дмитрий Шипов, первоначально сильно симпатизировавший кадетам, не вступил в их партию именно из-за того, что та встала "на путь несомненно революционный"¹³⁵. А известный конституционалист князь Евгений Трубецкой официально порвал с кадетской партией, разочаровавшись в ней именно из-за поддержки последней тактики

революционного террора¹³⁶.

Левое крыло кадетской партии несомненно превалировало над более умеренными членами и привлекало в организацию более радикальные элементы, возможно, даже отнимая их у социалистов. Однако даже среди тех, кто несмотря ни на что решил остаться в партии, многие, вплоть до членов ЦК Струве и Маклакова, неохотно подчинялись кадетской политике в отношении террора, а в редких случаях даже нарушали партийную дисциплину ради своих собственных убеждений¹³⁷.

И еще одна серьезная проблема возникла для партии в результате кадетской тактики в этом вопросе. Из-за отказа Милюкова публично осудить политические убийства или по крайней мере выпустить анонимное заявление об этом в "Речи" кадеты остались "нелегальной" (незарегистрированной) организацией, поскольку Столыпин сделал осуждение террора на страницах "Речи" единственным условием для легализации кадетской партии¹³⁸. Это позволяло властям закрывать партийные собрания и под разными предлогами подвергать кадетов судебным преследованиям¹³⁹.

Но и такие постоянные проблемы с легальным статусом партии кажутся незначительными в сравнении с тем, что потеряла кадетская партия из-за ее нежелания отмежеваться от экстремистов. Весной и летом 1906 года правительство, чрезвычайно напуганное непрекращающимися революционными эксцессами и разгулом анархии, было уже настолько ослаблено, что согласилось начать полуофициальные переговоры с кадетскими лидерами, которые теперь приглашались составить кабинет министров

вместе с октябристами и другими умеренными политиками, политическими деятелями. В этом новом коалиционном министерстве, которое по замыслу должно было пользоваться "народным доверием" и, таким образом, могло бы вести страну по пути мирного обновления и реформ, кадетам предлагались важнейшие портфели, в том числе портфели министров внутренних и иностранных дел и, возможно, – пост Председателя Совета министров. Надеясь, что "революционный пафос", который, по словам Маклакова, многие кадетские лидеры на данном историческом этапе не хотели тушить, вырвет у правительства еще более серьезные уступки¹⁴⁰, Милюков, который преимущественно и вел переговоры от имени кадетов, настаивал на том, что новое министерство должно быть набрано *исключительно* из членов думского большинства, т. е. только из кадетов. Считая, что власти все более загоняются в тупик широкой волной революционных выступлений и "уже чувствуя себя премьером", Милюков не был готов идти на какой бы то ни было компромисс¹⁴¹. Он заявлял, что кадеты займут либо все министерские посты, либо ни одного, отказываясь в то же время, пусть даже только на словах, смягчить партийную программу, сделав ее менее раздражительной для правительства, и прекратить поддержку экстремистов в думских речах и прессе¹⁴². Такое поведение оказалось явным политическим просчетом: хотя в тот момент и можно было предположить, что царь готов на любые уступки¹⁴³, кадетская тактика "умеренного радикализма" вопреки всеми ожидаемой неминуемой политической победе, завершилась поражением. Агрессивное поведение

кадетов в Думе в связи с аграрным вопросом и — что было не менее важно — поддержка ими террористов, в конце концов заставили правительство отказаться от формирования кадетского кабинета. Более того, по словам Тырковой-Вильямс, "страшный вопрос о терроре был одним из подводных камней, о которые разбилась Первая дума", что сильно подорвало позицию конституционных демократов¹⁴⁴.

Не все было еще потеряно, и хотя влияние кадетов во Второй думе было менее значительным, чем в Первой, партия все же оставалась серьезной политической силой¹⁴⁵. Изменила она свое отношение к правительству, как к врагу, а к революционерам всех направлений, как пусть к временным, но все же союзникам, может, и смогла бы она тогда продуктивно работать в существующей конституционной системе. Понятно, что при новой политической ситуации кадеты не могли более надеяться вытянуть уступки путем "осады" у несколько уже оправившихся от первого испуга и более уверенных в своих силах властей. Не могли они также и продолжать прежнюю политику, которую член кадетского ЦК князь Д. И. Шаховской определил четко: "сковырнуть правительство"¹⁴⁶.

Напротив, под влиянием все возрастающей угрозы разгона Второй думы кадеты теперь уже сами шли на некоторые уступки¹⁴⁷. Однако слова, сказанные в Думе октябристом М. Стаховичем, оказались пророческими: "Помните, господа, что если Государственная дума не осудит политических убийств, она совершит его — над собою!"¹⁴⁸ Не желая отколоться от революции и, возможно, все еще надеясь заста-

вить правительство отступить под давлением массового террора, кадеты не сделали этого шага, чем фактически "обрекли Вторую думу, поскольку вырвали из рук Столыпина то единственное оружие, при помощи которого он мог сдерживать растущее давление двора, направленное на роспуск Думы"¹⁴⁹. А после того как Вторая дума была распущена в начале июня 1907 года, партия кадетов оказалась сильно ослабленной, не сумевшей сохранить своего бывшего господства на русской политической арене. Если когда-то кадеты имели шанс стать ведущей политической силой в России и успешно работать в новой конституционной системе, они потеряли его в 1905-1907 годах, в большой степени из-за нежелания выйти из революционного лагеря и четко заявить о своем несогласии с тактикой экстремистов - террором.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Основными источниками для написания этой статьи стали стенографические отчеты заседаний Первой и Второй государственных дум (Государственная Дума. Стенографические отчеты. Сессия первая, 1906 год, заседания 1-38 /СПБ, 1906/; Сессия вторая, 1907 год, заседания 1-53 /СПБ, 1907/; в дальнейшем: ГД) и кадетская ежедневная газета "Речь" за период с февраля 1906 по июнь 1907 года. Кроме того, в статье анализируются многочисленные документы и публикации, выпущенные как кадетской, так и другими партиями, а также мемуары и исторические исследования, написанные свидетелями и участниками первой русской революции. Крайне полезной оказалась и многочисленная вторичная литература, посвященная революции 1905-1907 годов.

2. Norman M. Naimark. *Terrorists and Social Democrats*. Cambridge, 1983, p. 12.

3. Об оправдании террористической тактики партией эсеров см., например: Террористический элемент в нашей программе. – Революционная Россия, № 7, 1902. Со своей стороны, анархисты, которые часто прибегали к террору, считали "наличие государственного гнета и экономического порабощения достаточным основанием, не нуждающимся ни в каких оправданиях, восстания и прямого нападения как массового, так и личного, на угнетателей и эксплуататоров" (П. Катенин. Очерки русских политических течений. Берлин, 1906, с. 100).

4. Убийство Столыпина. Свидетельства и документы. Сост. А. Серебренников. Изд. Телекс, Нью-Йорк, 1986, с. 319.

5. Обзор такого революционера можно найти в коротких, но очень наглядных мемуарах террориста, вспоминающего, что вступил в эсеровскую организацию не для участия в борьбе, а для знакомства с самой партией. Хотя, как он признается сам, он не был в то время сознательным борцом против царского режима и лишь дважды (в тюрьме!) встречался с "настоящими" революционерами, автор не скрывает своего недоверия к товарищам по террористической группе, в которую входили юноши 17–19 лет, политически неразвитые и без всякой революционной подготовки. (См. Г. Фролов. Террористический акт над самарским губернатором. – Каторга и ссылка, кн. 1(8). Москва, 1924, с. 117.) Нередко революционер, действовавший совместно с уголовниками, "старался внушить членам шайки убеждение, что их предприятия осуществляются соответственно программным задачам анархического учения", что, впрочем, не слишком интересовало последних (см. П. П. Заварзин. Жандармы и революционеры. Париж, 1930, с. 180).

6. Этой точки зрения в основном придерживались либералы. См., например, П. Струве. Наши непримиримые террористы и их главный штаб. – Освобождение, № 55. 2 сентября 1904 года, с. 83.

7. Эсеры часто заявляли, что, сразу же после выхода Манифеста 17 октября, их партия прекратила террористическую деятельность и вернулась к ней лишь в марте 1906 года в ответ на "свирепости реакции" (см., например, Бюллетень Центрального комитета ПСР, вып. 1. Март 1906, с. 7). В действительности же, местные эсеровские организации не прекратили террористических выступлений (см. М. Ивач. Статистика террористических актов. – Памятная книжка социалиста-революционера, вып. 2. Б/м, 1914, с. 314).

8. Jacob Walkin. The Rise of Democracy in Pre-Revolutionary Russia. New York, 1962, p. 207. См.

также Prince Kropotkin. *The Terror in Russia. An Appeal to the British Nation.* London, 1909, p. 36; А. Тыркова-Вильямс. *На путях к свободе.* Нью-Йорк, 1952, с. 57-58; "Речь", № 81, 24 мая 1906 г., с. 1.

9. Эта цель революционеров ясно высказана в памфлете: *Первая капитуляция. Отдельный оттиск из № 77 "Революционной России"*, вып. 1. Ноябрь 1905 г.

10. Цит. по кн. А. И. Спиридович. *История большевизма в России от возникновения до захвата власти.* Париж, 1922, с. 120-121.

11. ГД, 1906, зас. 23, том 2, с. 1128. См. также L. I. Strakhovsky. *The Statesmanship of Peter Stolypin: A Reappraisal.* - *The Slavonic and East European Review*, vol. 37, № 89. June 1959, p. 356. По некоторым сведениям, эта статистика - лишь за три месяца; кроме того, из 671 убитых и раненных чиновников только 13 занимали высокие административные посты, а остальные 658 были городовыми, извозчиками и сторожами (см. ГД, 1906, зас. 4, том 1, с. 232). Дополнительные статистические данные, хоть и не всегда верные и часто заниженные см. в книге представителя кадетской партии во Второй думе: В. П. Обнинский. *Полгода русской революции.* Москва, 1906, с. 152.

12. Alfred Levin. *The Second Duma.* Yale University Press, 1940, p. 21n.

13. Л. Троцкий. Сталин, том 1. *Chalidze Publications*, США, 1985, с. 141.

14. Троцкий, например, описывает, как 2 августа 1906 года, в соответствии с постановлением Польской социалистической партии (ППС), "на улицах Варшавы и других городов края были убиты и ранены десятки полицейских и солдат. Эти атаки имели задачу, по объяснению вождей, 'поддержать революционное настроение пролетариата' " (там же).

15. Н. С. Таганцев. *Смертная казнь.* СПб, 1913, с. 160-161. Дополнительную статистику террористических актов и экспроприаций в Прибалтийском крае см. в кн. Я. К. Пальвадре. *Революция 1905-1907 гг. в Эстонии.* Ленинград, 1932 (?), с. 69-73.

16. Н. С. Таганцев. *Смертная казнь*, с. 92.

17. См. ГД, 1907, зас. 40, том 2, с. 698; там же, 1906, зас. 35, том 2, с. 1841; см. также "Речь", № 70, 11 мая 1906 года, с. 3; там же, № 76, 18 мая 1906, с. 3; В. П. Обнинский. *Полгода русской революции*, с. 153, 158, 160, 166.

18. По мнению Таганцева эти цифры, вероятно, включали в себя убийства, совершенные и не по политическим мотивам (Н. С. Таганцев. *Смертная казнь*, с. 92).

Статистика, представленная во Второй Думе, дает, однако, еще большую цифру: 6580 человек, убитых террористами (ГД, 1907, зас. 40, том 2, с. 753-754).

19. Несколько иные данные представлены Стаховским: в 1906 году - 738 официальных лиц и 645 частных граждан убиты, 948 официальных лиц и 777 частных граждан ранены. В 1907 году - не менее 1231 официального лица и 1768 частных граждан убиты и 1284 официальные лица и 1734 частных гражданина ранены (см. L. I. Strakhovsky. The Statesmanship of Peter Stolypin, p. 357). Однако всего убитых и раненых в 1906-1907 годах было более 9 тысяч, а вместе с жертвами последних месяцев 1905 года - и того больше. Можно сравнить эту статистику с данными, приведенными известным анархистом Петром Кропоткиным, утверждающим, что с октября 1905 года по конец 1907 года число убитых и раненых было "лишь" 7148 человек (см. Prince Kropotkin. The Terror in Russia, p. 36). Дополнительная, хоть и не слишком достоверная статистика, приведена в кн. Л. Троцкий. "Сталин", том 1, с. 140-141.

20. Письмо В. В. Ратко - в кн. Зубатов и его корреспонденты. Под ред. Б. П. Козьмина. Москва-Ленинград, 1928, с. 43.

21. Письма Е. П. Медникова - там же, с. 111-112.

22. Цит. по кн. Л. Троцкий. Сталин, том 1, с. 144.

23. В. В. Шульгин. Дни. Белград, 1925, с. 54. Этот пример - особенно интересен, т. к. дает представление о мнении старика-еврея, обвиняющего молодых еврейских экстремистов, чье поведение вело к погромам: "Штрелили эти паршивые мальчишки, штрелили и убегли. Они-таки убегли, а мы-таки остались. Они штрелили, а нас бьют..." (там же). Похожий взгляд на террор можно встретить в стенографическом отчете ГД, 1906, зас. 35, с. 1841.

24. Описание совместной деятельности народных социалистов и эсеров см. в кн. Н. Д. Ерофеев. Народные социалисты в первой русской революции. Москва, 1979; см. также Terence Emmons. The Formation of Political Parties and the First National Elections in Russia. Cambridge, 1983, pp. 82-87.

25. ГД, 1907, зас. 40, том 2, с. 747-748; там же, 1906, зас. 4, том 1, с. 118.

26. См., например, "Рабочему народу". - Российская социал-демократическая рабочая партия, № 16. Женева, 1904. Интересно отметить, что, когда Степан Балмашев убил министра внутренних дел Сипягина в апреле 1902 г., социал-демократы прилагали все усилия, чтобы

доказать, что "герой дня" принадлежал к их, а не к эсеровской партии (см. А. И. Спиридович. Партия социалистов-революционеров и ее предшественники. Петроград, 1916, прим. на с. 126). Описание подобных споров между меньшевиками и большевиками можно найти в кн. Г. Уратадзе. Воспоминания грузинского социал-демократа. Stanford, 1968, с. 131-132.

27. Памяти Григория Андреевича Гершуни. Tribune Russe, Париж, 1908, с. 22, 45.

28. Г. Уратадзе. Воспоминания грузинского социал-демократа, с. 130.

29. Н. Жордания. Моя жизнь, с. 44.

30. См. В. П. Обнинский. Полгода русской революции, с. 161; ГД, 1906, зас. 35, том 2, с. 1841.

31. В. И. Ленин. ПСС, т. 5, с. 7.

32. Даже советские историки не могут отрицать существования этих методов (см., например, Военно-боевая работа партии большевиков 1903-1917. Москва, 1973, с. 99; см. также Л. Троцкий. Сталин, том 1, с. 145-148).

33. В. И. Ленин. ПСС, т. 11, с. 339. Ленин также открыто защищал анархистские методы на страницах большевистского органа "Пролетарий": "Когда я вижу социал-демократов, горделиво и самодовольно заявляющих: мы не анархисты, не воры, не грабители, мы выше этого, мы отвергаем партизанскую войну, тогда я спрашиваю себя: понимают ли эти люди, что они говорят?.." (цит. по кн. А. Авторханов. Происхождение партократии, том 1. Изд. Посев, Франкфурт-на-Майне, 1981, с. 169). Активнейший член большевистского Центра Л. Б. Красин много поработал над организацией террористической деятельности. Будучи химиком, Красин сам участвовал в тайном изготовлении взрывчатых веществ (Архив Троцкого, Хогтонская библиотека Гарвардского университета, фонд bMs Russ 13 T-3490. Красин). См. также Л. Троцкий. Сталин, том 1, с. 141, 145-146, 155; Военно-боевая работа партии большевиков 1903-1917, с. 135; Л. Троцкий. Портреты. Chaldize Publications, США, 1984, с. 189, 196, 204.

34. Цит. по кн. А. И. Спиридович. История большевизма в России, с. 137.

35. Там же, с. 138.

36. ГД, 1907, зас. 23, том 1, с. 1686; там же, зас. 38, том 2, с. 600.

37. Там же, 1907, зас. 23, том 1, с. 503.

38. Нападки на партию народной свободы и возражения на них. Под ред. А. А. Кизеветтера. Москва, 1906, с. 53. Как заметил один американский историк,

отношение к террору "всегда было болезненным вопросом для кадетов" (Thomas Riha. *A Russian European: Paul Milukov in Russian Politics*. London, 1969, p. 140).

39. П. Милюков. Год борьбы. СПб, 1907, с. 118; см. также В. В. Шелохаев. Кадеты - главная партия либеральной буржуазии в борьбе с революцией 1905-1907 гг. Москва, 1983, с. 310-312.

40. См., например, В. А. Маклаков. Речи. Париж, 1949, с. 51.

41. Некоторые террористические акты, однако, говорят о серьезных психических отклонениях исполнителей, находивших удовольствие в убийствах (см., например, Norman M. Naimark. *Terrorists and Social Democrats*, p. 225; В. Веножинский. Смертная казнь и террор. СПб, 1908, с. 28; Oliver H. Radkey. *The Agrarian Foes of Bolshevism*. Columbia University Press, 1958, p. 70n). В связи с этим особенно вопиющими покажутся показания террориста по кличке "Цыган", виновного в убийстве девятнадцати полицейских чинов. "По его словам, он всегда присутствовал на похоронах убитых им. Его неудержимо влекло к трупу умерщвленного им человека и интересовало, попала ли пуля в то место, куда он целил, что он узнавал из разговоров с провожавшими покойника родственниками. Он сознался, что вначале ему было тяжело убивать, но уже на третий, четвертый раз акт лишения жизни производил на него редко приятное впечатление. При виде крови своей жертвы он испытывал особое ощущение и потому его тянуло все сильнее вновь испытать это сладостное чувство. Вот почему он и совершил столько убийств, в чем совершенно не раскаивается". (П. П. Заварзин. Работа тайной полиции. Воспоминания. Париж, 1924, с. 129.)

42. ГД, 1907, зас. 9, том 1, с. 491. Один эсеровский депутат, священник, утверждал: "В самом Евангелии можно найти оправдание террору" (Тыркова-Вильямс. На путях к свободе, с. 344).

43. Цит. по Thomas Riha. *A Russian European: Paul Milukov in Russian Politics*, p. 78.

44. Paul Milukov. *Russia and Its Crisis*. Chicago-London, 1906, p. 524. О конференции в Париже и последующей кооперации либералов с эсерами см. Shmuel Galai. *The Liberation Movement in Russia 1900-1905*, Cambridge University Press, 1973, pp. 214-221.

45. Цит. по Thomas Riha. *A Russian European: Paul Milukov in Russian Politics*, с. 83. Другой руководитель Союза, Петр Струве, соглашался с этим, считая, что до тех пор пока существует самодержавие, каждый,

кто борется против него, делает благое дело (см. Shmuel Galai. *The Liberation Movement in Russia 1900-1905*, p. 220). Неудивительно поэтому, что известие об убийстве министра внутренних дел В. Плеве "вызвало в доме редактора "Освобождения" [П. Струве] такое радостное ликование, точно это было известие о победе над врагом" (Тыркова-Вильямс. На путях к свободе, с. 176).

46. См. Л. Меньшиков. *Охрана и революция*, часть 3. Москва, 1932, с. 170-171; см. также А. В. Герасимов. *На лезвии с террористами*. Серия ВМБ. Изд. ИМКА-Пресс, Париж, 1985, с. 55; *Germany and the Revolution in Russia 1915-1918*. Ed. by Z.A.B. Zeman. London, 1958, p. 21.

47. Цит. по Thomas Riha. *A Russian European: Paul Milukov in Russian Politics*, p. 83. За некоторое время до убийства Плеве другой известный либерал и член Союза Освобождения, князь Дмитрий Иванович Шаховской, который вскоре вошел в кадетский ЦК и стал, кроме того, секретарем Первой Думы, все повторял в одном дружеском разговоре: "Плеве надо убить... Плеве пора убить" (Тыркова-Вильямс. На путях к свободе, с. 166).

48. Thomas Riha. *A Russian European: Paul Milukov in Russian Politics*, p. 78.

49. См. В. В. Шелохаев. *Кадеты - главная партия либеральной буржуазии в борьбе с революцией 1905-1907 гг.*, с. 145.

50. См. Michael Karpovich. *The Two Types of Russian Liberalism: Maklakov and Miliukov. - Continuity and Change in Russia and Soviet Thought*. Ed. by E. J. Simmons. Cambridge, 1955, p. 136.

51. Конституционно-демократическая партия. Съезд 17-18 октября 1905 г. Б/м, б/г, с. 7.

52. Тыркова-Вильямс. На путях к свободе, с. 259.

53. Хотя кадеты и настаивали на насильственной конфискации и разделе помещичьей земли, они не требовали национализации средств производства, что и отличало их от всех социалистов.

54. Terence Emmons. *The Formation of Political Parties and the First National Elections in Russia*, p. 414n; *Кадеты в 1905-1906 гг. (Материалы ЦК партии "Народной свободы")*. - Красный архив, т. 3 (46). Москва-Ленинград, 1931, с. 53. См. также Спор о революции: два письма В. А. Маклакова кн. В. А. Оболенскому. - Вестник РХД, кн. 146, 1986, с. 272.

55. В. А. Маклаков. *Из воспоминаний*. Нью-Йорк, 1954, с. 351.

56. Кадеты многократно заявляли об этой цели (см., например, Нападки на партию народной свободы, сс. 61–65; В. А. Маклаков. Первая государственная дума. Париж, 1939, с. 197; П. Милюков. Год борьбы, сс. 492–495).

57. См. "Речь", № 173, 24 сентября 1906, с. 2; там же, № 1, 1 января 1907, с. 2. См. также Первая государственная дума. СПб, 1907, с. 94.

58. А. В. Герасимов. На лезвии с террористами, с. 78; В. А. Маклаков. Из воспоминаний, с. 351.

59. Тыркова-Вильямс. На путях к свободе, с. 345.

60. Richard Pipes. Struve: Liberal on the Right, 1905–1944. Cambridge, 1980, p. 56.

61. См. Конституционно-демократическая партия. Съезд 17–18 октября 1905 г., с. 26, 25; см. также ГД, 1906, зас. 1, том 1, с. 3; "Речь", № 60, 28 апреля 1906, с. 1.

62. ГД, 1906, зас. 2, том 1, с. 35, 37.

63. Там же, 1906, зас. 2, том 1, с. 24–25.

64. Об условиях амнистии см. Хроника-Акты. – Вестник Европы, том 6. СПб, 1905, с. 346–348.

65. По мнению Государственного совета должны были быть амнистированы даже некоторые террористы, те, кто примерно вел себя в заключении и заслужил помилование. (См. Д. Н. Шипов. Воспоминания и думы о пережитом. Москва, 1918, с. 434–436, 440–441.)

66. Это особенно подчеркивал известный кадетский депутат Первой думы Ф. И. Родичев, заявивший, что члены Думы просто обязаны единогласно высказаться за всеобщую амнистию, без каких-либо исключений (см. ГД, 1906, зас. 2, том 1, с. 24). См. также "Речь", № 66, 6 мая 1906, с. 2.

67. П. Н. Милюков. Три попытки. Париж, б/д, с. 47. Уже в то время Милюков знал из авторитетных источников, что амнистия могла бы быть дарована, но "не бомбистам" (Thomas Riha. A Russian European: Paul Milukov in Russian Politics, p. 125). Однако, как он сам впоследствии указывал, "это был основной пункт расхождения [с правительством], даже более серьезный, чем аграрная реформа..." (П. Н. Милюков. Три попытки, 47).

68. ГД, 1906, зас. 4, том 1, сс. 74–76.

69. Там же, с. 137.

70. Цит. по кн. А. В. Герасимов. На лезвии с террористами, с. 78. Впоследствии Милюков отрицал, что он когда-либо произносил эти слова (см. Бахметьевский архив Колумбийского университета. Коллекция Савченко. Милюков Павел Николаевич. К статье М. В. Вишняка. Б/м,

б/д. Рукопись. 1 лист).

71. См., например, ГД, 1906, зас. 4, том 1, с. 231.

72. По словам министра юстиции Щегловитова отмена смертной казни за политические преступления была бы равносильна отказу государства защищать своих служащих (см. там же, зас. 29, том 2, с. 1479-1480).

73. Веножинский. Смертная казнь и террор, с. 32. Здесь с ним соглашался и Ленин, считая, что, если правительство подавит революцию решительно и окончательно, кадеты окажутся беспомощны, так как их сила питается революцией (см. Шелохаев. Кадеты - главная партия либеральной буржуазии, с. 159).

74. ГД, 1906, зас. 3, том 1, с. 45. См. также "Речь", № 77, 19 мая 1906, с. 1.

75. ГД, 1906, зас. 4, том 1, с. 231; см. также "Речь", № 62, 30 апреля 1906, с. 1.

76. ГД, 1906, зас. 3, том 1, с. 44-45.

77. Милюков. Год борьбы, с. 354; "Речь", № 77, 19 мая 1906, с. 1; Нападки на партию народной свободы, с. 54.

78. ГД, 1906, зас. 15, том 1, с. 642; см. также ГД, 1907, зас. 8, том 1, с. 410.

79. Милюков. Год борьбы, с. 353; см. также "Речь", № 36, 31 марта 1906, с. 5; там же, № 77, 19 мая 1906, с. 1.

80. ГД, 1906, зас. 4, том 1, с. 231. См. также "Речь", № 20, 14 марта 1906, с. 4; там же, № 62, 30 апреля 1906, с. 1; там же, № 71, 12 мая 1906, с. 1.

81. ГД, 1906, зас. 29, том 2, с. 1496. Г. Луженовский, советник тамбовского губернатора, в январе 1906 года был убит Марией Спиридоновой якобы за проявленную им жестокость при ликвидации аграрных беспорядков. Есть основания считать, однако, что Спиридонова убила Луженовского по личным мотивам (см. Е. Брейтбарт. "Окрасился месяц багрянцем..." или подвиг святого террора. - Континент, кн. 28, 1981, с. 321-342). Традиционная точка зрения изложена в кн. I. Steinberg. Spiridonova. Revolutionary Terrorist. London, 1935.

82. Г. Фролов. Террористический акт над самарским губернатором, с. 114. В газете "Речь" кадеты сами описывали, как, убив по ошибке человека, имевшего несчастье быть похожим на бывшего министра внутренних дел П. Н. Дурново, террористка выразила сожаление, но прибавила при этом, что в эти трудные времена не имеет значения, будет ли на свете одним человеком больше или меньше (см. "Речь", № 149, 27 августа 1906, с. 2).

83. ГД, 1907, зас. 9, том 1, с. 485-486. См. также

- В. П. Обнинский. Полгода русской революции, с. 157.
84. П. П. Заварзин. Работа тайной полиции, с. 128.
85. ГД, 1907, зас. 38, том 2, с. 607-608.
86. П. П. Заварзин. Жандармы и революционеры, с. 181, 185.
87. Л. Троцкий. Сталин, том 1, с. 142. Указание на многочисленные террористические акты с чисто уголовной целью можно встретить в кн. В. П. Обнинский. Полгода русской революции, сс. 156, 158-159, 162-164.
88. ГД, 1906, зас. 29, том 2, с. 1496.
89. Там же, с. 1487.
90. Там же, с. 1496. См. также В. П. Обнинский. Полгода русской революции, с. 153.
91. П. П. Заварзин. Работа тайной полиции, с. 136.
92. И. Тургенев. Порог - Новый сборник революционных песен и стихотворений. Париж, 1899, с. 61-62.
93. ГД, 1906, зас. 29, том 2, сс. 1495-1496. Не одни кадеты использовали этот литературный образ для своих политических целей: эсеры, например, находили его удобным для пропаганды террора (см. Б. Савинков. Революционные силуэты. Дора Бриллиант. - Знамя труда, №8, с. 10).
94. "Речь", № 18, 12 марта 1906, с. 2.
95. ГД, 1906, зас. 11, том 1, с. 442.
96. "Речь", № 13, 7 марта 1906, с. 1; ГД, 1906, зас. 15, том 1, с. 643.
97. См. ГД, 1907, зас. 8, том 1, с. 396; там же, 1906, зас. 16, том 1, с. 738.
98. См., например, обсуждение этого вопроса в Государственной думе (ГД, 1907, зас. 8, том 1, с. 400). См. также "Речь", № 79, 21 мая 1906, с. 5; там же, № 82, 25 мая 1906, с. 2; и особенно частые упоминания о многочисленных нападениях малолетних террористов в кн. В. П. Обнинский. Полгода русской революции, сс. 155-156, 163-167.
99. См., например, "Речь", № 47, 13 апреля 1906, сс. 1-2; там же, № 62, 30 апреля 1906, с. 2; там же, № 72, 27 марта 1907, с. 2; там же, № 43, 9 апреля 1906, с. 1; там же, № 46, 12 апреля 1906, с. 2.
100. Maureen Perrie. The Social Composition and Structure of the Socialist-Revolutionary Party before 1917. - Soviet Studies, # 24. October 1972, p. 231. Согласно Троцкому, "возросший процент раненых показывает, что стреляют теперь случайные люди, преимущественно зеленая молодежь" (Л. Троцкий. Сталин, том 1, с. 141).
101. Paul Avrich. The Russian Anarchists. Princeton, 1967, p. 44.

102. В. П. Обнинский. Полгода русской революции, с. 163-166.

103. Maureen Perrie. The Social Composition and Structure of the Socialist-Revolutionary Party before 1917, p. 229.

104. См. Н. С. Таганцев. Смертная казнь, с. 163. См. также описание того, как террорист, сожительствова с матерью тринадцатилетней девочки, принуждал ее участвовать в террористической деятельности. В полиции девочка дала об этом следующие показания: "...Я таскала для Роте динамит и даже готовые бомбы; присутствовала при убийстве офицеров и городских, пряча оружие из которых "Михас" убивал этих людей, и, наконец, наблюдала за охранным отделением..." (П. П. Заварзин. Жандармы и революция, с. 148).

105. См. там же, с. 143.

106. Тыркова-Вильямс. На путях к свободе, с. 343.

107. См. В. В. Леонтович. История либерализма в России, 1762-1914. Серия ИНРИ, том 1. Изд. ИМКА-Пресс, Париж, 1980, с. 478; ГД, 1906, зас. 4, том 1, с. 138.

108. Кадеты даже собрали статистику политических убийств за период с октября 1905 по октябрь 1906 года. Но они делали это с определенной целью: показать незначительность террористических актов в сравнении с репрессиями правительства (Двоих. Погибшие 17 октября 1905 г. - 17 октября 1906 г. - Вестник партии народной свободы, вып. 33-35. Москва, 1906, с. 1808-1815, 1725-1736).

109. См. следующие номера "Речи" за 1906 год: 32, с. 2; 36, с. 5; 38, с. 4; 39, с. 3; 65, с. 3; 71, с. 3; 73, с. 4; 74, с. 3; 79, с. 5; 80, с. 2; 82, с. 2; 90, с. 1; 120, с. 2; 137, с. 1; 138, с. 2; 139, с. 2; 161, с. 3; 164, с. 3; за 1907 год: 14, с. 4; 50, с. 4; 53, с. 3; 108, с. 2. Большинство этих передовиц и статей не были подписаны, представляя мнение редакции газеты, а не каждого автора лично. Справедливости ради нужно сказать, что в одном случае, комментируя массовое убийство солдат и полицейских в Варшаве в августе 1906 года, когда только случайных жертв было более ста, "Речь" отметила, что анархистский террор не имеет оправдания ("Речь", № 133, 9 августа 1906, с. 1).

110. См. там же, № 1, 23 февраля 1906, с. 1; там же, № 137, 13 августа 1906, с. 1. См. также П. Н. Милюков. Год борьбы, с. 260-264.

111. Thomas Riha. Rech'. A Portrait of a Russian Newspaper. - Slavic Review, vol. 22, # 4. December

1963, р. 663.

112. "Речь", № 148, 26 августа 1906, с. 1.

113. А. Каминка. Михаил Яковлевич Герценштейн. - Вестник партии народной свободы, вып. 19-20. Июль 1906, с. 1220; К смерти М. Я. Герценштейна - там же, вып. 21-22. Август 1906, с. 1313-1315. См. также следующие номера "Речи" за 1906 год: 131, с. 2; 132, с. 1; 148, с. 1; за 1907 год: 8, с. 1-3; 10, с. 1; 12, с. 1; 17, с. 1; 20, с. 1; 22, с. 1; 33, с. 4; 34, с. 2-3; 35, с. 1; 38, с. 1; 45, с. 3; 55, с. 2; 62, с. 1; 66, с. 1; 80, с. 4; 137, с. 2; 138, с. 2.

114. См. "Речь", № 119, 23 мая 1907, с. 1; там же, № 117, 20 мая, 1907, с. 3. Этот третий террористический акт кадеты так и не осудили (см. там же, № 120, 24 мая 1907, с. 2). Такое отношение к политическим убийствам лучше всего было определено бывшим членом кадетской партии, князем Е. Н. Трубецким, который заметил, что многие из тех, кто выражал возмущение и ужас перед убийством Герценштейна, высказывались так только потому, что убийство было совершенно правыми. Трубецкой добавил, что аналогичное убийство, совершенное левыми, встретило бы со стороны тех же самых людей оправдание и сочувствие. Понятно, что кадеты категорически отрицали это обвинение (см. там же, № 134, 10 августа 1906, с. 1).

115. ГД, 1907, зас. 9, том 1, с. 445, 477.

116. Там же, с. 479; там же, зас. 8, том 1, с. 392. См. также "Речь", № 1, 23 февраля 1906, с. 1; там же, № 6, 28 февраля 1906 г., с. 1; там же, № 10, 4 марта 1906, с. 4; там же, № 75, 17 мая 1906, с. 1. Особенно показателен один думский эпизод: когда главный военный прокурор Павлов появился на ораторской трибуне, чтобы ответить на запрос Думы о военно-полевых судах, кадеты вместе с социалистами не дали ему говорить, заглушив криками "Вон! Вон! Палач! Убийца! Кровь на руках!". Через несколько дней Павлова убили, и в глазах правительства думская оппозиция была косвенно ответственна за это убийство, т. к. вольно или невольно сыграла роль подстрекателей (см. Тыркова-Вильямс. На путях к свободе, сс. 298, 300).

117. ГД, 1907, зас. 8, том 1, сс. 374-375.

118. "Речь", № 81, 6 апреля 1907, с. 1.

119. Они и делали это многократно (см., например, ГД, 1907, зас. 8, том 1, сс. 373, 402, 433, 445; там же, зас. 9, сс. 445, 476; там же, зас. 18, с. 1275; там же, зас. 40, том 2, с. 737).

120. Там же, зас. 8, том 1, с. 433; зас. 9, том 1, с. 476.

121. R. Pipes. Struve, p. 56.

122. При этом кадеты не говорили ни слова о "политических убийствах" (см. "Речь", № 113, 16 мая 1907, с. 1). См. также А. А. Кизеветтер. На рубеже двух столетий. Воспоминания 1881-1914. Прага, 1929, с. 461.

123. ГД, 1907, зас. 9, том 1, с. 477; там же, с. 529; "Речь", № 42, 8 апреля 1906, с. 1.

124. ГД, 1906, зас. 15, том 1, с. 643. В стараниях обойти этот щекотливый вопрос, кадеты получили существенную поддержку от председателя Государственной думы Ф. А. Головина, который, вопреки своей должности, не был нейтрален во время дебатов. Есть много примеров, доказывающих, что лояльность Головина к кадетской партии и его явные симпатии думским левым в большой степени определяли его поведение как председателя (см., например, ГД, 1907, зас. 34, том 2, сс. 237-239, 287). Особенно примечателен случай с использованием им формального предлога для того, чтобы не дать Думе почтить память государственных служащих, убитый террористами (см. там же, зас. 18, том 1, с. 1275-1278, 1373-1376). Даже некоторые кадеты не могли не признать, что Головин не был хорошим председателем (см. И. В. Гессен. В двух веках. Б/м, 1937, с. 241; Тыркова-Вильямс. На путях к свободе, с. 339).

125. ГД, 1907, зас. 20, том 1, с. 1533.

126. Там же, 1907, зас. 24, том 1, с. 1833; там же, зас. 38, том 2, с. 608-610.

127. См. В. А. Маклаков. Вторая Государственная дума. Парижб, б/г, с. 216.

128. ГД, 1907, зас. 34, том 2, с. 286-287.

129. Там же, зас. 38, с. 608-609.

130. Там же, зас. 26, том 1, с. 1928. Вопрос об осуждении политических убийств еще раз косвенно стал во Второй думе 17 мая 1907 года. Кадеты и на этот раз отказались сделать прямое заявление, но из-за боязни разгона Думы решились вынести резолюцию, в которой, по словам Маклакова, осуждение террора "было так затушевано, что его разыскать можно было только под лупой" (В. А. Маклаков. Вторая Государственная дума, с. 218-220). См. также ГД, 1907, зас. 40, том 2, с. 759.

131. Цит. по статье В. Д. Набоков. Справа и слева. - Вестник партии народной свободы, вып. 37. Ноябрь 1906, с. 1935. См. также "Речь", № 82, 7 апреля 1907, с. 1. И кадеты признавали, что они действительно не могут опровергнуть эти обвинения (см. там же, № 77, 19 мая 1906, с. 1).

132. Веножинский. Смертная казнь и террор, с. 32; см. также П. Н. Милюков. Год борьбы, с. 496.

133. Цит. по статье В. Д. Набоков. Справа и слева. - Вестник партии народной свободы, вып. 37, с. 1935.

134. Вестник Европы, кн. 1. Январь 1907, с. 355; кн. 3. Март 1907, с. 333-334.

135. Д. Н. Шипов. Воспоминания и думы о пережитом, с. 399.

136. Тыркова-Вильямс. На путях к свободе, с. 283; П. Н. Милюков. Год борьбы, с. 117-128; Thomas Riha. A Russian European: Paul Milukov in Russian Politics, p. 83.

137. 15 мая 1907 года Струве, например, голосовал против отказа кадетской фракции обсуждать думскую резолюцию, направленную против террора (см. Вестник Европы, кн. 6. Июнь 1907, прим. на с. 762). См. также В. А. Маклаков. Вторая Государственная дума, с. 216. Даже левый кадет О. Я. Пергамент в какой-то момент прямо заявил о своем *личном* несогласии с террористическими методами. Впрочем, это был единственный случай, когда кадетский депутат решился выступить в Думе вопреки решению фракции (см. ГД, 1907, зас. 40, том 2, с. 763).

138. R. Pipes. Struve, p. 56.

139. Thomas Riha. A Russian European: Paul Milukov in Russian Politics, p. 140.

140. В. А. Маклаков. Первая Государственная дума, с. 207.

141. Шипов. Воспоминания и думы о пережитом, с. 450.

142. В. А. Маклаков. Первая Государственная дума, с. 207; П. Н. Милюков. Три попытки, с. 47.

143. См. Шипов. Воспоминания и думы о пережитом, с. 457-460.

144. См. Тыркова-Вильямс. На путях к свободе, с. 283; Шипов. Воспоминания и думы о пережитом, с. 460; П. Н. Милюков. Три попытки, с. 47.

145. См. Terence Emmons. The Formation of Political Parties and the First National Elections in Russia, p. 366.

146. Цит. по кн. Шелохаев. Кадеты - главная партия либеральной буржуазии, с. 160. По словам их консервативного оппонента, "увидев, что прямая революция в ближайшем проиграна", кадеты "надели на себя снова... маску непонятых и лояльных конституционалистов" (Веножинский. Смертная казнь и террор, с. 31). Маклаков в своих мемуарах разделял это мнение (см. В. А. Маклаков. Вторая Государственная дума, с. 244-245).

147. Кадеты, например, в отличие от всех фракций, стоящих левее их в Думе, подписали заявление, выражающее радость по поводу того, что Николаю Второму удалось, благодаря заблаговременным арестам террористов, избежать покушения (см. ГД, 1907, зас. 34, том 2, с. 197-199). Кроме того, кадеты более не требовали всеобщей политической амнистии (см. там же, 1907, зас. 46, том 2, с. 1148; там же, зас. 49, с. 1301-1302).

148. Там же, 1907, зас. 40, том 2, с. 756.

149. R. Pipes. Struve, p. 56. В манифесте о роспуске Второй думы царь ясно заявил, что, "уклонившись от осуждения убийств и насилий, Дума не оказала в деле водворения порядка содействие правительству" (цит. по кн. Тыркова-Вильямс. На путях к свободе, с. 364). Текст официального заявления по поводу разгона Думы см. Внутреннее обозрение. - Вестник Европы, кн. 7. Июль 1907, с. 334-335.



ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ – ОПЫТ ОСМЫСЛЕНИЯ

Юрий МЕЙЕР

О русской дореволюционной интеллигенции

Возникновение интеллигенции в России неразрывно связано с примером, почерпнутым из Франции. Революция 1789 года, свергнувшая абсолютную монархию во Франции, была инспирирована и осуществлена представителями третьего класса (сословия). Идеология этого класса была создана Вольтером, Руссо, Дидро, Монтескье и сразу же породила крайности политических убеждений – от Дантона, Марата, Сен-Жюста, противопоставив их умеренным и гуманным жирондистам и вылившись во временный захват власти радикалами якобинцами во главе с Робеспьером.

Здесь необходимо сделать отступление. Несмотря на то, что человечество (то есть главным образом за истекшие два столетия представители белой расы) достигло довольно высокого уровня материального благополучия, оно этих людей не удовлетворяло. Мыслящая часть человечества всегда критически относилась к существующему порядку, болезненно реагируя на любые несправедливости, на любые неудачи, на нарушение высших принципов морали и честности. Для этой категории мыслящих, хотя иной

раз даже умственно примитивных людей, оставался один выход – оправдать свое бренное существование в мире великим упованием на обретение душевного покоя в лучшем, будущем мире. До периода критического рационализма эту роль подателя надежды для всего человечества выполняла религия. Подавляющая часть всех религий обещала в потустороннем мире обретение блаженства в сфере неограниченного добра, вечного мудрого мировоззрения или даже примитивных чувственных переживаний.

Вот это преклонение перед великой надеждой на лучшее и давало возможность людям переносить тяготы жизни, страшные события, личные трагедии. Но по мере роста рациональной оценки жизни, ведущей к отрицанию мифических и недоказуемых обещаний религии, люди не смогли отказаться от великого импульса надежды и стали искать ее осуществления не в потусторонней жизни, а в исправлении существующих жизненных условий. Автоматически влекомые надеждой, они превращались в оппозиционеров существующему порядку, в революционеров духа, в тот взрывчатый материал, который вел к революциям. Это психическое явление продолжает неизменно выявляться и в наше время.

Карл Маркс проявил великую психологическую проницательность в успешном использовании этого импульса надежды. Нарисовав всю безотрадность человеческой жизни, иллюстрировав в своем "Капитале" весь ужас несправедливости и угнетения тогда еще почти не существовавшего в Англии пролетариата, – он убедил жаждущих выполнения надежды на будущее в том, что век великой справедливости может быть осуществлен здесь, на земле.

Его учение было принято массами наивных людей на веру. Неофиты радостно принимали как аксиому Марксово учение об отмирании государственной власти, которая считалась источником всех зол, включая и судебные функции. Еще более заманчивым было обещание, что за ненадобностью исчезнут деньги (а ведь они считаются причиной многих бед и беспокойств в материальных тупиках жизни); обещание максимальных, ничем не ограниченных материальных благ, доступных любому. Попытки рационально опровергнуть эту утопию разбивались о неистовое стремление этих новых религиозных неофитов обрести радостную надежду.

Недавно Патрик Бьюкенен в своей большой статье утверждал, что даже либеральные и высоко образованные круги американцев нередко оправдывают свою жизнь в погрязшем в грехах мире великой надеждой на коммунизм, на наступление великого счастья и душевного успокоения на земле. Эта надежда превратилась в слепую веру, закрывающую их глаза и уши на 70-летний опыт применения коммунистической догмы на практике. Люди такого толка отмахиваются от действительности, говоря, что продолжают твердо верить в благость коммунистической идеологической фикции, и превращаются из объективно размышляющих в слепо верующих.

Как я уже сказал, появление в истории государств класса интеллигенции, в силу описанного психологического феномена — надежды, примиряющей каждого человека с жизненным гнетом, автоматически приводило людей к убеждению в необходимости радикальных пе-

ремен в существующем государственном или политическом строе. Откуда же в России на пороге XVIII и XIX веков появились люди, готовые отречься идейно от своего сословия и вступить в ряды ищущих на земле страны обетованной? Прежде всего, они должны были быть мыслящими и, следовательно, образованными. Такими в России могли быть, в первую очередь, дворяне. Они имели возможность читать французских энциклопедистов, они почти единственные имели возможность бывать за границей. Военная молодежь в период Наполеоновских войн широко воспользовалась этой возможностью и возвращалась на родину полная новых идей.

Здесь я позволю себе в нескольких словах изложить мою гипотезу о том, что представляют собой государственные режимы. Они идейно создаются и движутся во времени людьми, и это превращает их в живые организмы с присущими им периодическими явлениями рождения, набирания силы, процветания, болезней, увядания и старости. Наподобие крови, нервной энергии и мускульной силы, отдельным сословиям в таком организме отводятся определенные функции, и глубокой ошибкой для членов таких сословий является мысль, что такие функции — их абсолютное право. На самом деле в сложном государственном организме это их обязанность, подлежащая неуклонному выполнению. Возьмем дворянство. Оно — правящий класс, его первой обязанностью является защита того строя, который сделал его правящим. Одним из серьезнейших симптомов старения режима являются действия членов правящего класса, показывающие, что они изменяют предназначенной им

функции защиты строя. Если усвоить эту гипотезу, то декабристы озаменовали этот первый серьезный кризис стареющего самодержавного строя. Ведь они в подавляющем числе были членами лучших аристократических родов. И дальше, если мы будем следить за ростом политического влияния интеллигенции, ведущего к революции, то убедимся, какую решающую роль в течение второй половины XIX века играли в ней представители дворянского сословия — князья Кропоткины, Бакунины и другие.

Тут надо сказать, что само дворянское сословие в России весьма резко отличалось от дворянства в Англии, Франции и Германии. Там дворянство приобреталось только монаршим велением, как, например, символическим прикосновением шпаги монарха к плечу посвящаемого в рыцарство английского эсквайра. В России дворянами становились люди по своим заслугам. Достаточно было им продвинуться по гражданской табели о рангах или до известного чина на военной службе, как они автоматически вписывались в первые три книги дворянства. Только три последних книги перечисляли потомственных дворян: 4-ая — имеющих иностранное дворянство, 5-ая — титулованных и последняя 6-ая — потомков бояр, могущих доказать, что они обладали боярскими правами в 1685 году, то есть за сто лет до подписания Императрицей Екатериной Второй "Грамоты о вольности дворянской". Этот порядок открывал возможность вхождения в правящий слой людей — разночинцев, не связанных традициями правящего класса.

Итак, первыми членами нового класса интеллигенции были дворяне. Это был период ис-

тории, в котором при отсутствии всякой промышленности основными материальными ценностями считались земля и крепостные люди, находившиеся на положении рабов. Понимание ценности природных ресурсов, даже лесов, только зарождалось. Но в первой половине XIX века купцы-промышленники выросли в могучую политическую силу. Началась техническая революция: в Петербург пришли магнаты-сталева-ры с Урала — Демидовы, Строгановы; Москва стала великим промышленным городом, и Ма-монтовы, Морозовы, Прохоровы, Третьяковы, Второвы, Гучковы, Лямины начали выполнять особо ответственную роль в рядах передовой интеллигенции. Земля, однако, продолжала оставаться прежней материальной ценностью, и в Поволжье в ряды интеллигенции выдвинулись не только дворяне Аксаковы, Батюшковы, Ка-рамзины, Алашеевы, но и купцы, владевшие сот-нями тысяч десятин, хотя бы по одной Самар-ской губернии: Аржановы, Шихобаловы, Кур-лины, Башкировы, Соколовы, Сыпины, Хохла-чевы и другие. Члены этих семейств держали в своих руках всю торговлю хлебом и, в проти-вовес дворянам, занимали либеральные позиции в рядах интеллигенции.

О том, что эта молодая интеллигенция су-мела создать великое процветание русской культуры, ее золотой век, выдвинув великих поэтов, писателей, композиторов, музыкантов, артистов, философов, главное — ученых и вра-чей — говорить не приходится. Круг образован-ных людей рос, и в ряды интеллигенции всту-пали разночинцы, наиболее настроенные против правящего сословия и вносявшие большую дозу ненависти в свои политические убеждения. В

рядах интеллигенции появились кадры анархистов, нигилистов, народовольцев. Освобождение крестьян подкосило материальное благополучие дворян. Последующие поколения в этом классе уже не были в состоянии существовать за счет оставшихся в их руках земель и переходили на службу в государственных учреждениях или в созданном земстве на ничтожное жалование и становились убежденными либеральными членами растущего класса интеллигенции.

Но здесь необходимо отметить важную заслугу русской интеллигенции. Она стала носительницей и проповедницей чувства гуманности, признания ценности человеческой жизни, милосердия ко всем без различия. В отличие от предшествующих веков и тысячелетий невероятной жестокости, насилия, полного презрения к человеческой жизни вторая половина XIX века и первое десятилетие XX века стали коротким периодом, в котором торжествовала гуманность, милость к человеческому роду. Этими великими чувствами была охвачена не только интеллигенция, но и другие сословия, в том числе и дворянство. Тот факт, что такая решительная мера Александра Второго, как освобождение крестьян, не вызвала потрясений и общих яростных протестов, является лучшим доказательством того, как высоко было понятие справедливости даже в среде тех людей, которым эта реформа несла серьезный материальный ущерб. Похожая мера в Соединенных Штатах (манифест президента Линкольна) вызвала ожесточенную гражданскую войну, в которой конфедераты Юга страны взялись за оружие во имя защиты своих материальных интересов.

Этот период в России был увенчан великими человеколюбивыми реформами, созданием образцового, справедливого, равного для всех и милостивого суда с присяжными заседателями, как органа общественной совести; земства, получившего широкие права по организации жизни в деревне; Крестьянского банка, облегчившего быстрый переход земель из рук помещиков в руки крестьян. Хотя эти мероприятия и были инициативой власти, но они целиком соответствовали настроениям основной части интеллигенции. Нельзя скрывать, что в нее в значительной мере внедрилось другое течение, — пафос злобы, отмщения и сведения счетов за прошлое. В большой мере это было следствием влияния коммунистической догмы, провозглашавшей принцип диктатуры одного класса, создавшего представление о "чуждых" классах и убеждение в неизбежности и желательности классовой борьбы и уничтожения враждебных сословий.

Достоевский в своих произведениях, особенно в "Идиоте" и "Бесах", пророчески описал идеологию двух противоположностей в рядах русской интеллигенции. Этот период, отмеченный гуманностью и милосердием, продолжался недолго. Он представлял собой громадную опасность для той части интеллигенции, которая жаждала политического "черного передела", построения совершенно нового мира. Первая вооруженная схватка вылилась в революцию 1905 года, причем я позволю себе утверждать, что и в эти дни власть оставалась верной принципам гуманности. Враги правительства сумели убедить общественное мнение в жестокости власти, указывая на "столыпин-

ский воротник” как на пример зверской расправы. На самом же деле по приговорам судов за полвека до и во время первой революции было казнено 1860 человек, повинных в террористических актах. Что это число значит по сравнению с жертвами глобального террора, провозглашенного после покушения на Ленина, когда физически в массовом порядке уничтожались люди не из-за их личных действий, а только за принадлежность к ”чуждым классам”?!..

Как я уже утверждал, монархический режим был болен старческой сенильностью и поэтому был обречен. Как больной старик он и скончался без сопротивления от случайной короткой вспышки – продовольственного бунта в столице, оказавшегося неожиданностью даже для большинства революционеров. 25-ое февраля 1917 года стало днем, когда судьба пригласила русскую интеллигенцию держать государственный экзамен. И тут выяснилось, что теоретическая подготовка в течение предыдущего века интеллигенции не помогла. Просчет был трагичен. Оказалось, что только ничтожное меньшинство всего народа высоко ценит великие достижения демократии, – конституцию, подлинные народные представительства, парламенты, деление власти на три отрасли, акт ”хабеас корпус”. Хождение интеллигенции в народ в XIX веке оказалось безуспешным: для народа, для крестьян, рабочих и солдат демократические тезисы оказались непонятной абракадаброй. В Таврическом дворце столкнулись две неравные силы: Государственная Дума, защитница демократии, и Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов с намерением

защищать народные интересы, как их понимали крайние левые радикалы. Борьба оказалась короткой и для демократов безнадежной. Они ничего не поняли в подлинных настроениях народа. Запев "Война до победного конца" и "верность союзникам", они навлекли на себя нескрываемый гнев народа. "Кончай войну без аннексий и контрибуций", "Идем домой делить землю" — этим заманчивым и реальным лозунгам русские демократы не могли противопоставить ничего, кроме слов, никак не убеждавших народ. Надо отдать справедливость лучшим представителям интеллигенции. Они пытались разыгрывать революцию по всем правилам теории. При выборах в предпарламент они применили самые либеральные правила общих выборов. То же самое было сделано и при выборах в Учредительное Собрание, но трагический конец этого высшего демократического учреждения, разогнанного без сопротивления окриком матроса Железняка, лишь доказал, насколько в полном отрыве от народной массы действовали представители нашей интеллигенции.

Но, несмотря на этот трагический закат демократических принципов, носителями которых была наша интеллигенция, ее надо помнить с глубокой любовью и неизменным признанием. Она была создательницей русской культуры, ее подлинное моральное величие было в ее искренней гуманности, торжествовавшей какой-то исторический миг и немедленно сменившейся периодом неслыханной жестокости и абсолютного презрения к человеческой личности. При объективной, непристрастной оценке событий того периода эти заслуги интеллигенции будут подлежать самому высокому признанию.

Если верить пифагорейцам...

«Интеллигенция – это общественный слой людей, профессионально занимающихся умственным трудом и обычно имеющих соответствующее (как правило, высшее) образование». Таково определение интеллигенции, взятое из самого последнего издания советского философского словаря. Если провести своеобразный опрос общественного мнения среди тех, кто сегодня называет себя русской интеллигенцией, абсолютное их большинство выразят категорическое несогласие с приведенным определением и будут совершенно правы. Ни для кого не секрет, что высшее образование имеет сегодня достаточно большой процент населения СССР, но среди этих людей, выражаясь словами Писания, "много званых, но мало избранных": огромное большинство их не только не способно к самостоятельной и независимой мыслительной деятельности, но и попросту безграмотно. Что касается "умственного труда", то это понятие ныне весьма расплывчатое: партийно-советско-профсоюзные работники так называемого "среднего звена", конечно же, занимаются умственным трудом, но ни у одного мыслящего человека язык не повернется объявить их интеллигентами.

Я добросовестно пытался и там, в СССР, и здесь, в эмиграции, выяснить у тех, кто именует себя "русской интеллигенцией" (я тоже,

разумеется, причисляю себя к таковой), что, собственно, они понимают под этим? Ответы были туманными и неясными, с такими оборотами, как "хранители нравственного заряда нации" или "распространители моральных и культурных ценностей", и все это сопровождалось теми жестами, с помощью которых человек пытается объяснить, что такое хобот или хвост. Мои собственные попытки дать точное и ясное определение – что есть современная русская интеллигенция – были так же безуспешны.

К счастью, наука располагает так называемым "методом тождественности". Если мы не можем дать точное определение данному явлению, но знаем характерные признаки другого явления, подобного данному, нам остается лишь определить, насколько эти признаки приложимы к рассматриваемому явлению: если они полностью удовлетворяют ему, значит, оба явления тождественны, и определение второго можно спокойно отнести к первому. История и характер "классической русской интеллигенции" изучены достаточно хорошо и подробно. Нам остается лишь совершить небольшой экскурс в эту историю и освежить в памяти наиболее характерные черты русской интеллигенции. Если эти черты приложимы к тем, кто называет себя русской интеллигенцией сегодня, – значит, эти категории тождественны или, во всяком случае, подобны, и тогда все трудности и сомнения отпадают.

* * *

На протяжении долгих столетий цивилизованные западные страны считали Русь страной

невежественных дикарей и были правы. Первым правителем Руси, понявшим необходимость приобщения к западной цивилизации, был Борис Годунов. Именно при нем на Запад были отправлены "отроки боярские в числе осьмнадцати" - набраться западной культуры и стать ее распространителями на Руси. Эта затея закончилась полным конфузом и удивительно напоминала сегодняшние времена: все "осмнадцать отроков", вдохнув воздух свободы и культуры Запада, стали, выражаясь современным языком, "невозвращенцами", не пожелавшими возвращаться в родную тюрьму.

Вторая попытка была сделана при Петре и окончилась блестяще: Петр презирал сословные предрассудки, брал нужных ему людей откуда придется - лишь бы они были жадными до знаний, талантливыми и "превыше живота своего" преданными делу. Так возникла новая русская знать, вскоре смешавшаяся со старой, "птенцы гнезда Петрова" - эмбрион будущей русской интеллигенции, в кровь которой отныне вошел ее первый, важнейший и чисто российский признак: сначала - "дело, которому ты служишь", а потом уж ты сам. Сто лет, четыре поколения существовал этот эмбрион, видя свое предназначение в преданной службе государству, пока появилась "живая вода", сделавшая из него то, что стало русской интеллигенцией: война 1812 года.

Молодые офицеры-дворяне, побывавшие в Западной Европе и впервые увидевшие, что такое свободные люди свободного и процветающего государства, были потрясены мыслью о том, что им предстоит возвращаться в дикую страну забитых рабов, во главе которой стоит

всевластный деспот. Понятие "дела, которому ты служишь", в сознании этих молодых дворян несколько расширилось. Они по-прежнему не мыслили себя вне государства, они по-прежнему были преданы ему, но одновременно они осознали, что именно на них лежит миссия исправления этого государства, миссия искоренения социальной несправедливости в отношении миллионов бесправных рабов этого государства — народа, и провозглашения республики или хотя бы конституционной монархии. Так родились декабристы, "первая волна" русской интеллигенции.

Здесь не место для разбора несовершенства их политических программ или наивности плана государственного переворота — нас интересует совершенно иное, связанное с этой первой, дворянской русской интеллигенцией. Самого этого слова — "интеллигенция" — еще не существовало: писатель Боборыкин ввел его в употребление почти полвека спустя, а обиходным оно стало и вошло в другие языки с легкой руки Тургенева. Но у этих людей появились первые новые признаки, которые будут в дальнейшем сопутствовать русской интеллигенции всю ее историю: альтруистическое бескорыстие и жертвенность. Декабристы принадлежали к привилегированному классу общества, и их борьба за социальную справедливость совершенно не касалась их самих, в случае успеха они могли лишь проиграть. Ни один из них не сводил с государством или с государем личные счета, ни один из них не искал дешевой популярности или собственных выгод в будущем.

Их жертвенность была другим важнейшим признаком. Они знали, на что и во имя чего

они идут, и сама мысль о том, что их жертва будет не принята, сама мысль о протесте против ссылки или казни, мысль о том, что кто-то другой будет за них ходатайствовать или бороться, — была в их глазах просто кощунственна. Строки:

Иди и гибни безупречно,
Умрешь недаром — дело прочно,
Когда под ним струится кровь.

— были написаны о них. Знаменитая строка шотландской баллады: "Как весело, как радостно шел к виселице он" — это о них. Верность идеалам справедливости, бескорыстие и готовность принести в жертву этим идеалам свою свободу и жизнь — характерные признаки "первой волны" русской интеллигенции.

Потребовалось сорок лет, чтобы созрела "вторая волна". За это время к дворянской интеллигенции присоединились образованные люди других сословий, видящие смысл своей жизни в борьбе за социальную справедливость, люди "разных чинов" — разночинцы. Этот новый вид интеллигенции, сохраняя нравственные качества старой, все же резко от нее отличался. Прежде всего исчезла преданность государству — разночинцы именно в нем видели корень социального зла, именно его считали смертельным врагом своих идеалов и, следовательно, своим врагом. Интеллигенты противопоставили себя государству и, чтобы от него не зависеть, избирали себе специфические "свободные профессии": писателя, журналиста, художника, адвоката и т. д. У новой интеллигенции появился бог, которому она по-

клонялась, ради которого была готова на все — "народ". Что именно понималось под этим и как с этим народом следовало себя вести — не знал никто. Это было что-то вроде древнего "неизвестного бога". Народники шли с проповедями в этот "народ", а "народ" вылавливал их и торжественно преповождал в ближайший полицейский участок. Народовольцы, разуверившись в "хождении в народ", встали на путь террора. Убив императора, они ожидали вспышки народного ликования, а "народ" ответил стихийными погромами. Между интеллигенцией и "народом" лежала непроходимая пропасть, обычно лежащая между образованными людьми и невежественной, темной массой.

Есть в физике такой фокус. Тонкая металлическая пластинка помещается на идеально ровном расстоянии от обоих полюсов магнита и... повисает в воздухе: оба полюса отталкивают ее с равной силой. Нечто похожее происходило и с интеллигенцией. Она в равной степени была удалена и от государства, которое ненавидела, и от народа, которому она готова была отдать всю себя без остатка, но о котором по сути не имела ни малейшего представления. Государство и народ были реальным миром. Оказавшись вне их, интеллигенция ушла сама в себя, существуя в некоем ирреальном мире, наполненном абстрактными мечтами и идеями о "всеобщем благе", "всеобщем счастье", "светлом будущем" и о прочих прекрасных, но на практике неосуществимых мечтах.

Характерным признаком интеллигенции была ее молодость. Едва "дети" становились "отцами", их тут же сменяли новые "дети" — в основном студенчество, — и интеллигенция,

как бы застыв в своем росте, всегда оставалась молодой. Она имела своих кумиров, "властителей дум", идейных вождей, формировавших ее взгляды. Эти "властители" были так же молоды, как она сама: Добролюбов умер в 25 лет, Писарев – в 27, Белинский – в 37, Чернышевский закончил свою активную деятельность в 34 года, а апогей славы Михайловского пришел, когда ему было чуть больше 30 лет.

Кроме счастья народа у интеллигенции был и другой идол, которому она поклонялась столь же истово – наука. Беспредельная вера в науку, что наука все может, что она – единственное, что стоит принимать всерьез – это преклонение и вызвало к жизни "нигилистов", а на закате истории интеллигенции – футуристов, восторгавшихся "практическими ценностями" и презиравших "ценности духовные". Для полного счастья не хватало только одного – чтобы наука пришла и в иллюзорный мир "светлого будущего" и сделала его из иллюзорного реальным. Это и произошло, когда в Россию пришел марксизм, встреченный интеллигенцией с восторгом.

Здесь необходимо сделать одно весьма существенное пояснение. Есть такой научно-фантастический рассказ. На некоей планете имеются особого рода микроорганизмы, влияющие на механизм наследственности. Какое бы живое существо ни оказалось на этой планете (существо из других миров, разумеется), оно под действием этих микроорганизмов очень быстро превращалось в точную копию аборигенов – существ, населяющих эту планету. В России как будто существовали подобные микроорганизмы:

любая философская концепция, любого рода социальная теория, попав с Запада в Россию, немедленно преобразовывалась в нечто совершенно иное, чисто русское, не имеющее ничего общего с оригиналом.

Революция как метод политической борьбы был давно и отлично знаком интеллигенции Запада. Но для нее это был лишь один из многих методов борьбы, ограниченный определенными пределами. И едва лишь эти пределы бывали достигнуты, революция себя исчерпывала. На русской почве это выглядело совершенно иначе. Здесь, в отличие от Запада, для личности не делалось ничего: интересы личности были полностью подчинены интересам общества еще со времен Петра. Интересы же общества не имели никаких определенных границ — оно должно было быть идеальным: идеальное "светлое будущее", абсолютное равенство, максимальное благополучие. Это и были благородные, но совершенно неопределенные цели революции, возглавляемой интеллигенцией, сама же революция была единственным мыслимым методом борьбы. Так появились дополнительные характерные черты последней, "третьей волны" русской интеллигенции: крайний радикализм, до предела доведенный максимализм, идеалы, подчиненные несуществующему "абсолюту". Марксизм, таким образом, попал на благодарную почву и был мгновенно преобразован в соответствии с описанной выше закономерностью. Под идеи, прежде столь расплывчатые, была подведена научная база, выраженная чуть ли не в математических формулах. Непонятный и таинственный "народ" был заменен точным понятием "пролетариат" — класс, для которого и с

которым надлежало делать революцию. Все события, все явления – от самых сложных до простейших – отныне подчинялись непреложному единому жестокому закону – закону классовой борьбы. Эта новая революционная теория, доведенная, как и положено в России, до своего "абсолюта", сделала из русского интеллигента совершенно уникальное явление: сам по себе мягкий, добрый и отзывчивый человек, – он, "исполняя свой священный долг", не останавливался ни перед чем. С наслаждением жертвуя самим собой, он, не задумываясь, мог принести в жертву "делу" бесчисленные жизни других. Девиз "цель оправдывает средства" для этого случая становился благородным девизом: ведь цель-то была ни больше, ни меньше, чем "светлое царство труда"!

И вот – свершилось. Революция позади. Класс-гегемон установил свою диктатуру. И правило, непреложное, как древний рок, вступило в силу: революция пожирает своих детей. Понятия "контра" и "антилигент" стали равноценными, и победивший пролетариат с одинаковой готовностью ставил к стенке тех и других. Само слово "интеллигент", столь гордо звучавшее совсем недавно, приобрело особый глумливый смысл: оно стало обозначать некое "классово чуждое" существо, произносящее непонятные, а стало быть враждебные мысли и слова, вечно во всем сомневающееся и вечно копающееся в своих "мелкобуржуазных" переживаниях. Часть интеллигенции бежала за границу, часть была истреблена, а остатки ее существовали еще два десятилетия, наподобие динозавров, чудом избежавших таинственной катастрофы. Выражение "русская интеллиген-

ция” исчезло: вместо него появился термин “старая интеллигенция”, произносившийся с той или иной интонацией, в зависимости от обстоятельств. В 1937–38 гг. почти вся “старая интеллигенция” была истреблена или, как изящно выражаются учебники истории: «Старая интеллигенция слилась в единое целое с новой, социалистической интеллигенцией». На истории русской интеллигенции была поставлена точка.

* * *

Что же, освежив в памяти характерные черты русской интеллигенции, давайте применим “метод тождественности” и установим, приложимы ли эти черты к категории людей, называющих себя русской (иногда – “либеральной”) интеллигенцией сегодня и, следовательно, посвятившей себя исправлению социальной несправедливости общества. Я предполагаю при этом, что читатели не станут смешивать понятие “интеллигент” с понятием “интеллектуал”, означаящим образованного человека, умеющего мыслить глубоко, самостоятельно и смело, получающего величайшее наслаждение от самого мыслительного процесса, но ничего общего не имеющего с практической борьбой за социальную справедливость.

Обособлена ли нынешняя интеллигенция от государства и народа? Противостоит ли она государству? Никоим образом. Как и любой советский гражданин, интеллигент представляет собой часть государственного механизма – он работает на государство и получает от государства плату за это. Что касается народа, то из него и вышел либо сам сегодняшний интел-

лигент, либо его родители, так что его, этот народ, можно презирать, но противопоставить себя ему — невозможно.

Какова цель, которую ставит себе сегодняшняя русская интеллигенция — в СССР и в эмиграции — в борьбе за искоренение социальных зол? Это один из самых щекотливых вопросов. Борьба эта получила благозвучное трафаретное название "борьбы за права человека", а сами борцы — названия "правозащитников" или "диссидентов". Предположим, некто объявил, что собирается писать книгу о борцах за гражданские права в нацистской Германии, в Уганде времен Иди Амина или на Гаити эпохи папаши Дювалье. Этого потенциального автора немедленно подняли бы на смех: ведь для того, чтобы вообще говорить о гражданских правах, эти режимы нужно было уничтожить и заменить их чем-то совершенно иным. Абсолютно так же обстоит дело и с СССР: в нем не может быть прав человека, как их понимает Запад (и правозащитники), пока там существует нынешний социальный строй. Чтобы добиться этих прав, его нужно уничтожить и заменить чем-то совершенно иным, как это хотела сделать и сделала русская интеллигенция. Но разве диссиденты и правозащитники ставят своей целью свержение советской власти? Пофрондировать — да, сказать речь в защиту "узников совести" — да, смыться на Запад — да, но организовано бороться с властью, нарушающей права человека, — трижды нет!

Может ли нынешняя интеллигенция, осознав свое бессилие перед мощью государственной машины, создать свой собственный внутренний мир и жить идеями этого мира? Не может.

Часть этих разочарованных людей ищут утешение в религии, часть — становятся своеобразными "интеллигентами-пролетариями", отдаваясь простому физическому труду, не оставляющему особенно много времени на грустные размышления — вот и все.

Идеологи, "властители дум"? Они существуют лишь в воображении западных газет и тех, кто сам себя таковым считает. "Идеологи", не имеющие никакой идеологии, никакой политической программы, привлекающей внимание, никакой конечной цели, выраженной этой программой, — о них в СССР практически никто не знает, ими никто не интересуется, так же, как их Нобелевскими премиями мира и почетными дипломами.

Молодость интеллигенции? Это качество проявляется еще вне СССР — студенческие беспорядки, декларации, столкновения с идейными противниками и т. п. Советская молодежь занята более насущными проблемами: спекуляцией, рок-музыкой, модой, накачиванием мускулов. Политическая борьба же — то, что составляло саму сущность русской интеллигенции, — ее не интересует.

Жертвенность? Увы, это первое и важнейшее качество исчезло начисто. "Весело и радостно" идти на виселицу больше никто не желает. "Ищу возможности бороться за права человека со всеми удобствами, желательно в Москве или на Западе", — так это можно было бы выразить юмористически. По идее, тот, кто вступает на стезю этой борьбы, отдает себе отчет в том, чем она чревата. Но едва идея становится реальностью, начинается борьба в мировом масштабе — не позволить борцу стать

жертвой. И когда несостоявшейся жертве удастся освободиться и выехать на Запад – царит всеобщее ликование (на Западе, конечно).

Следует естественный вывод, что ни одно из качеств, свойственных русской интеллигенции, не применимо к тем, кто так называет себя сейчас. При этом я хочу особенно подчеркнуть одно обстоятельство: ни то, что было сказано только что, ни то, что было сказано ранее, не имеет ничего общего с оценкой этих явлений – это-де хорошо, а то – плохо. Убедившись, например, что закономерности, свойственные кругу, неприменимы к квадрату, мы не станем делать вывод, что круг – хорош, а квадрат – плох, мы просто отметим, что это разные вещи. Так и здесь. Я не знаю, каким словом обозначить тех, кто называет себя сегодня "русская интеллигенция", для этого, наверное, нужен новый Боборыкин, но то, что это не русская интеллигенция – у меня сомнений не вызывает. Помните старинную формулу: "Король умер, да здравствует король!". Первая часть формулы правомерна в нашем случае – "Русская интеллигенция умерла". Что касается второй половины, то тут дело обстоит много сложнее.

Если верить пифагорейцам, история движется по кругу, повторяя одни и те же фазы, лишь в несколько измененном виде. Я сторонник этой концепции и, применяя ее к данному случаю, я считаю, что мы стоим опять в том периоде, когда русская интеллигенция – в смысле общепризнанного сообщества людей, видящих свою миссию в бескомпромиссной борьбе за социальную справедливость и готовых пойти на любые жертвы ради этой борьбы – лишь зарож-

дается. Я не знаю, сколько должно пройти времени, пока появятся эти люди – не те, *за которых борются*, а те, *которые борются*, отдавая всего себя, свою свободу и самую жизнь в этой борьбе, – но я верю, что это будет.

В ноябре 1987 г. в эмигрантской печати было опубликовано письмо из СССР, в котором среди прочего говорится:

"Судьбы отдельных людей могут вызывать сочувствие, но постоянное муссирование этой проблемы уже ничего не меняет в общественном мнении и не способствует развитию свободно-го демократического движения внутри страны. В то же время ряд проблем, затрагивающих большую часть населения страны, требует самого активного и всестороннего внимания и освещения. Это религиозное возрождение, восстановление и развитие национальных культур народов СССР, экономические проблемы, свободные профсоюзы, проблемы молодежных течений, проблемы экологии, деятельность неформальных творческих объединений, современная отечественная культура и многое другое.

...Необходимо считаться с тем, что подавляющее большинство населения СССР никуда ехать не собирается, и проблема выезда им чужда".

Под этим письмом стоит 32 подписи. Я не знаю, сколько за ними стоит еще, а может быть, их всего 32 и есть. Но само то, что их волнует – судьба страны, а не "борьба за борцов" – напоминает одну из важнейших черт русской интеллигенции. И может быть, именно им мы скажем когда-нибудь вторую часть формулы: "Да здравствует русская интеллигенция!"

Каков диаметр колеса истории?

Взяться за эти заметки побудила меня статья Натана Эйдельмана, носящая осторожное название "Почему я не пессимист" и опубликованная под рубрикой "История и современность" в газете "Московские новости" (22 ноября 1987 г.). Вот ее основные положения. Эйдельман говорит, что, подобно тому, как в XIX веке интеллигенция ("активное меньшинство народа") была оттеснена на второй план исполнительными, но ограниченными функционерами и превратилась в сообщество "лишних людей", так и «в 1960–1970–х годах в разных слоях населения образовалось немало лишних людей». Не все, однако, потеряно, утверждает Эйдельман. «Наш оптимизм поддерживается историческими аналогиями – ведь точно так же говорили в XIX веке – это был довод против реформ... но как только начались... преобразования – крестьянская, земская, судебная, военная и другие реформы, такие люди нашлись». Именно эта историческая параллель, как можно понять, и одаривает Н. Эйдельмана благотворным оптимизмом.

Оговорюсь сразу: я не согласен с автором статьи "Почему я не пессимист". Но прежде чем возражать, я хотел бы задать читателю (до Н. Эйдельмана мои заметки едва ли дойдут) вопрос: "Каков диаметр колеса истории?" Если мы знаем эту величину, то, проведя известную со школьных лет операцию

(умножив на 3.14159265), мы будем совершенно точно проинформированы, когда именно следует ждать следующей революции, нового 1937 года и всех прочих событий такого рода, которых заждалось прогрессивное человечество. Если же ответа насчет колеса истории нет, то все исторические параллели, сопровождающие размышления о судьбах Страны и Мира, останутся бездоказательными.

Понять Эйдельмана и многих других, кто ищет утешительных параллелей между сегодняшним Советским Союзом и Россией XVIII-XIX веков, конечно, можно. Действия нынешнего руководства настолько не похожи на то, что происходило в стране нашей в последние десятилетия, что историки и публицисты невольно пытаются уцепиться за что-то подобное в прошлом, сделать какую-то кальку с минувшего, чтобы предугадать ход дальнейших событий. Для воспитанного на эзоповском языке "советского интеллигента" (как ни странно звучит само это словосочетание) особенно заманчива параллель с XIX веком, тоже периодом, который закончился 1917 годом с его февралем и октябрем. В самом проведении такой параллели содержится некоторое предупреждение властям — УЖО ТЕБЕ; равно как и резерв исторического и чисто человеческого оптимизма.

Но есть ли у нас право проводить подобные сравнения? Можем ли мы, положив руку на сердце, уподобить Великую отечественную войну войне 1812 года? Ведь, проводя подобные сравнения, надлежит говорить не о схожести внешнего развития событий, а о внутренней исторической ситуации, которая предшествовала этим войнам. Надлежит также говорить об отношении

народных масс к существующей власти и к иноземцам, отношении, которое, если говорить о XX столетии, существенно отличалось от ситуации начала XIX века.

Вправе ли мы сравнивать советскую власть с властью царской? Ведь такое сравнение предполагает априорно представление о некоем внутреннем тождестве, не будь которого само сравнение теряет свой смысл.

Есть ли у нас достаточно оснований для того, чтобы проводить параллели между реформами второй половины XIX века и "перестройкой"? На мой взгляд даже самая постановка такого вопроса абсурдна. Но главный вопрос, который возникает при чтении статьи Н. Эйдельмана, относится к понятию "интеллигенции". Является ли "передовая советская интеллигенция" той же самой группой общества, что обитала в России под схожим названием столет назад? Не будем говорить об отдельных личностях, сравнивать уровень образования, нравственную ориентацию и прочие частности. Вопрос стоит иначе: можем ли мы сравнивать эти *классы*? Думаю, что и тут ответ может быть только отрицательный. Попробую объяснить свою позицию.

Русская интеллигенция, это по сути своей совершенно уникальное "растение", возникло в результате длительного процесса, который начался, когда Петр Великий привил черенок западной культуры к азиатскому российскому дереву. Этот процесс по существу окончился вместе с войной 1812 года, когда значительное число русских людей побывало в Европе и познакомилось с последствиями Французской революции. Можно сказать, что создание ин-

теллигенции как класса, пусть с извечными российскими перегибами, каким-то образом культивировалось в течение всего XVIII и XIX веков. Этот процесс, подчас болезненный, часто обременительный для народа, был совершенно необходим хотя бы потому, что русский язык, который является основой нашей культуры, никогда не имел всемирного хождения, был, как советский рубль, неконвертируемым. Необходимо было "передаточное звено", принадлежащее как Востоку, так и Западу. Роль эту и исполняла интеллигенция.

Процесс интеллектуализации был в известном смысле опасным для традиционных российских ценностей, и если считать, что в результате двухвекового окультуривания мы получили все-таки неплохой результат, то это объясняется лишь тем, что "пыльца Запада" попала на живую нравственную народную традицию, передающуюся от отца к сыну, из поколения в поколение. Русская интеллигенция в течение двух этих веков формировалась с оглядкой на народ, на его извечные ценности.

Что же произошло в результате революции 1917 года?

Большевики практически уничтожили два последующих поколения российских интеллигентов. Два поколения, это то, что достаточно для нарушения преемственности. Могут возразить, что от погибших предыдущих поколений остались их книги, картины, музыка и другие интеллектуальные богатства, которые могли бы вскармливать народ. Это так, но какие бы книги мы ни нашли на чердаке нашего опустевшего дома, чувства наши, наша читательская реакция будет безусловно иной, прочти мы их вместе

с отцом или с дедом. Это не хуже и не лучше, это — другое по самой своей сути. Возможно, что то, что называется сегодня "советская интеллигенция", есть новая линия в обществе, но это не продолжение старой. Мы не являемся мостом между прошлым и будущим. Порвалась связь времен. Прервалась нравственная традиция.

Смею заявить: русской интеллигенции как на нашей родине, так и в эмиграции, больше не существует. Отдельные случайно сохранившиеся индивидуумы погоды не делают. Они не могут изменить общественный климат, не способны воссоздать утраченный класс себе подобных потому, что "интеллигентская закваска" может восстановиться и вновь обрести себя, только попадая на живую народную традицию, в мудрое и доброе охранительное окружение. Боюсь, что это последнее условие уже не выполнимо. Как в Средние века инквизиция практически остановила передачу эзотерических знаний, практически уничтожив носителей живой магии и изменив духовную картину последующих веков, так и семь десятилетий разгула "советской демократии" прервали преемственность живой магии слова, восприимчивость культуры и нравственности. Если что-то и возникнет, то будет это по сути иное, и нет никаких оснований полагать, что это новое станет развиваться и действовать так же, как та общественная группа, что жила век назад и звалась русской интеллигенцией.

Хочу также обратить особое внимание читателей на следующий абзац в статье Н. Эйдельмана. «"Народ — движущая сила истории". Мысль бесспорная, но нередко эта фраза про-

износится в том смысле, что историю-де двигают именно необразованные массы. Массы — движущая сила, но кто же их самих приводит в движение? Активное меньшинство народа...». Занятный пассаж. Когда прочитываешь его в первый раз, он кажется вполне правильным и даже довольно смелым для официальной советской печати. Но потом, подумавши, осознаешь, что устами Эйдельмана говорит сама Советская власть. Сейчас ей выгодна эта мимикрия, так же как выгодна та призрачная свобода, которой она наделила свою интеллигенцию. Приведенный выше абзац подходит нынешним хозяевам страны, ибо допускает двойное прочтение. С одной стороны, получается, что именно интеллигенция довела страну до существующего ныне пагубного состояния. С другой стороны, из того же абзаца получается, что нынешняя, то есть горбачевская, власть — интеллигентна...

После этого вполне логично звучит сожаление Эйдельмана по поводу того, что в последние десятилетия затертая функционерами советская интеллигенция самоустранилась от общественной жизни, в результате чего "от живого дела были отторгнуты многие полезные государству и обществу люди. Огромная человеческая энергия была потеряна, растрачена..." А вот теперь, дает знать своему читателю Эйдельман, все переменится, ибо в Кремле сидят интеллигенты, которые, как раз в силу своего интеллектуализма, знают, что и как следует делать во благо народное. Прочитав эйдельмановский абзац второй и третий раз, я остановился в некотором недоумении: кто все это говорит, русский интеллигент или нынешний товарищ Гапон?..

А, кстати, почему Н. Эйдельман говорит только о двух десятилетиях, 60-70-х? Или в 30-50-х "активное меньшинство народа" полноправно и с открытой душой участвовало в общественной жизни? Как ни печально признать, но статья в "Московских новостях" отражает отношение советской интеллигенции не только к сегодняшним событиям в стране, но и к власти вообще. Похоже, что за 70 лет она привыкла уже к роли помощницы партии и, не имея собственной программы, мечтает только об ошейнике помягче и поводке подлиннее. Поводок (гласность) ныне удлинен изрядно, ошейник нынче, в результате перестройки, тоже не столь жесток, как вчера. Куда же завтра поведет "активное меньшинство народа" темные массы? К победе коммунизма, разумеется...

Если уж говорить о силе, которая на мой взгляд была бы способна так или иначе связать грядущее с минувшим и тем восстановить способность российского общества к подлинно благим для него переменам, то единственной такой силой видится мне Церковь. К сожалению, разрушительное влияние Советской власти сказалось и на ней. Убить не убили, но изуродовали Церковь российскую изрядно. Да и трудно представить, чтобы власти позволили бы Церкви принять активное участие в перестройке. Не позволят хотя бы потому, что Церковь наша в чем-то еще жива.

Что же касается "колеса истории", с которого мы начали эти заметки, то, думается, что Советский Союз — столь рукотворно и к тому же совсем недавно и наскоро созданная держава, что заниматься поисками аналогий и делать какие-то выводы о прошлом и будущем

страны пока преждевременно. Вот через какое-то время, когда Государственный Департамент США выразит серьезную озабоченность по поводу 30-й годовщины оккупации советскими войсками независимой Франции и в связи с этим наложит эмбарго на экспорт в СССР соленых огурцов и рассола, вот тогда, может быть, некоторые общие исторического процесса станут более очевидными. И настанет пора прозревать будущее, отталкиваясь от минувшего.

Марк ПОПОВСКИЙ

Об одной неизлечимой болезни

Вот уже скоро полвека, как жизнь моя течет в окружении людей, именующих себя русскими интеллигентами. Они не обязательно русские по крови. Есть среди них украинцы и евреи, эстонцы, армяне, крымские татары. Таинственное словосочетание "русский интеллигент" вовсе не о крови толкует. Тут важны иные ценности. Спросите о роли этой общественной группы кого-нибудь из ее участников и тотчас услышите что-то об "аристократии духа", "мозге общества" и "совести народа". Еще процитируют вам слова Антона Павловича Чехова из книги "Остров Сахалин": «Где многочисленная интеллигенция, там неизбежно существует общественное мнение, которое создает нравственный контроль и предъявляет всякому этические требования, уклоняться от

которых уже нельзя безнаказанно никому...»¹
Хотя словам этим уже 95 лет, нынешние интеллигенты советского происхождения убеждены, что Чехов говорил и о них.

Этот тип людей, что бы я о нем ни думал, привлекает и занимает меня. Все мои товарищи и знакомые в Советском Союзе и в эмиграции – интеллигенты. Герои моих книг и очерков – ученые, изобретатели, деятели церкви и даже крестьяне-толстовцы – тоже. Люди эти, при всем при том, очень различны и несхожи друг с другом. Несхоже их отношение к Богу, к власти, к Западу, к родине, а также к женщинам, политическим партиям и возвращению денежных долгов. Но есть нечто сближающее их, то, что превращает их в единый орден. Это "нечто" – стремление *служить народу*, государству, своей стране. Будучи, чаще всего, профессионалами, они действительно способны дать обществу немалые ценности. При этом чаще всего не стремятся они нажить капитал на своих дарах. Более того, готовы отдать все даром, только бы знать, что дары их действительно служат народу. Качества вроде не плохие. Парадоксально лишь то, что большинство интеллигентов, познав на собственной шкуре характер Советской власти и потеряв элемент народопоклонства, господствовавший в интеллектуальной русской среде XIX века, в нарушение всякой логики хотят служить... Кому? При неплохом в общем-то знании русского языка у этой категории лиц слова *родина, народ, отечество, страна, общество и государство* странным образом смешаны, сливаясь во что-то единое, нераздельное. В то самое, чему непременно надо служить.

Нет надобности напоминать здесь, как и чем отвечала Советская власть в течение всей своей истории на общественную активность интеллигенции. Достаточно двух цитат. Осенью 1919 года в ответе на письмо М. Горького, который жаловался на бесчисленные аресты ученых в Петрограде, Ленин писал: «Невероятно сердитые слова говорите Вы и по какому поводу? По поводу того, что несколько десятков (или хотя бы даже сотен) кадетских или околкадетских господчиков посидели несколько дней в тюрьме... Какое бедствие, подумаешь! Какая несправедливость! Несколько дней или даже неделю тюрьмы интеллигентам... Мы знаем, что околкадетские профессора дают сплошь и рядом заговорщикам помощь. Это факт.

Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников интеллигентов, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. А на деле это не мозг, а говно»².

Для Ленина, с его сугубо партийным мышлением, все интеллигенты – только члены партии кадетов (конституционных демократов), потенциальные враги. Она, интеллигенция, может при случае помогать заговорщикам, поэтому ее *нужно* сейчас же, немедленно арестовывать. Оно бы лучше вообще перестрелять всю эту профессорскую сволочь, но вот загвоздка: ученые "спецы" нужны для подъема "производительных сил республики". Дилемму эту вождь разрешил в своей речи на VIII съезде РКП в том же 1919 году. Местным должностным лицам предприсывалось в этой речи, с одной стороны, держать ученых под строгим контролем, «окружать их рабочими комиссарами,

коммунистическими ячейками, поставить их так, чтобы они не могли вырваться», а с другой, все-таки подкармливать их, «ибо этот слой, воспитанный буржуазией, иначе работать не станет...»³ Ленинская программа взаимоотношений партии и интеллигенции не претерпела больших перемен за следующие семь десятилетий. И тем не менее полученные удары, большую часть нашей интеллигенции ничему не научили. Как только стало возможно, начиная с конца 50-х годов, она принялась просвещать Советскую власть, учить, как власти этой следует исполнять свои собственные законы, как уважать человеческие права, как охранять природу и ценить идущую "снизу" народную инициативу. Наиболее горячие при этом подписывали письма вождям и высокопоставленным чиновникам, выходили на демонстрации и обращались за поддержкой к мировой общественности. Интеллектуалов этих, обуянных жадой одарить власть добрыми и полезными для нее советами, три десятка лет швыряли в тюрьмы, лагеря, психушки, высылали из страны. И не за бунт. К бунту интеллигенты не призывали. Но за склонность к учительству.

Как уже говорилось, интеллигенты российские поражают своей полной неспособностью извлекать исторические уроки из прошлого печального опыта. Едва им покажется, что наверху кто-то услышал их голос, как они немедленно становятся вернейшими слугами верхних эшелонов власти. Любое послабление режима рассматривается ими как признак того, что т а м откликнулись на их призывы, их декларации. Горбачев показал себя неглупым и проницательным вождем, построив свою поли-

тику прежде всего на игре с интеллигентами. Отсюда последовала "гласность" и "перестройка". В интеллигентских кругах эти знаки внимания верхов расценены как то, что наконец-то Кремль оценил мудрость и правоту диссидентов. Пошли разговоры, что речи Горбачева — не что иное, как пересказ Солженицынского "Письма к вождям", что Горбачев выпустил Сахарова из ссылки, поскольку постиг глубину сахаровской программы. Пляшут от восторга ("Нас поняли!") те, кто, отсидев годы в дурдомах, прочитали ныне закон о правах пациентов психушек, и те, кто увидали в печати свои сочиненные двадцать лет назад романы. Но разве в психушки кидали только оттого, что соответствующего закона не было? А закон, он, что, может положить предел беззаконию однопартийной системы? А книги, сегодня разрешенные, что же, завтра нельзя снова запретить, коли у запретителей остается полное право распоряжаться в стране всем и вся? Почему-то мысли эти даже в самом завуалированном виде не появляются на страницах нынешней вроде бы свободной (простите, *гласной*) печати. Вместо того, чтобы призвать к ответу конкретных преступников, десятилетиями истреблявших лучших людей страны (в ответе за все оказался Сталин, умерший треть века назад), вместо того, чтобы требовать *гарантий* неприкосновенности личности и личного творчества, гарантий демократии, сегодняшние интеллигенты продолжают тщеславиться своим якобы вкладом в общественную жизнь. Многие искренно уверены в своем соучастии в нынешней (какой по счету?) оттепели и считают ее не оттепелью, а летом на все времена. Разу-

меется, есть в среде интеллигентской и скептики (число их после двух первых лет горбачевской эпохи изрядно даже выросло), но тон задают не они.

Признав самих себя подателями идей перестройки, интеллигенты надеются на дальнейшее свое внедрение в ряды советников власть имущих. «Надо, на мой взгляд, шире вовлекать интеллигенцию в процесс принятия политических решений, – призывает кремлевцев профессор-офтальмолог, член-корреспондент АН СССР Святослав Федоров. – Невероятно важна в развивающемся технологическом обществе и роль той части интеллигенции, которая занимается культурой и искусством»⁴. Историк Натан Эйдельман обращается уже не к чувствам вождей, а к их выгоде. Всякий раз, когда Кремль не прислушивается к призывам и советам интеллигенции, угрожает Эйдельман, он сам же и в проигрыше. Ибо образуется армия "лишних людей", которые не работают на народ. В государстве происходит потеря «сотен миллиардов человеко-часов и человеко-дней»⁵.

Литератор Майя Ганина разрешение бесчисленных российских бед также видит в том, что власти привлекут в качестве союзника интеллигенцию. Последняя, по мнению Ганиной, должна при этом слиться с партийной верхушкой в едином порыве. Среди прочего Майя Ганина пишет: «Мы с мужем уже более десяти лет живем в подмосковной деревне, в так называемом Нечерноземье, и то, что давным-давно происходит у нас, порой приводит меня, честно говоря, в состояние отчаяния и безысходности»⁶. Казалось бы, наблюдая за убожеством колхозной жизни, писательница должна была

бы прийти к естественному выводу о необходимости распустить колхозы, освободить мужика из коллективного ярма. Но нет, об этом писать не полагается, и она пишет только то, что разрешено: «Положение дел требует осмысления и принятия каких-то действенных мер от людей интеллигентных, от творческой интеллигенции особенно»⁶. Майя, с которой мы были знакомы много лет, не хуже других знает, что не интеллектуалы загоняли крестьян в колхозы и не они имеют власть дать деревне свободу. Нет, она не лжет, она фантазирует, мечтает вслух, в надежде, что ее мечтания опять-таки услышат т а м, где действительно принимаются решения и что о т т у д а раздастся глас: "Идите и княжьте на Руси, дорогие интеллигенты..." Недостоверно, конечно, но так хочется в это верить...

У ленинградского писателя Якова Гордина своя аргументация в переговорах с властями. Зная их страх перед инакомыслием и просто перед мыслящими гражданами, Гордин пытается, ссылаясь на опыт прошлого столетия, успокоить горбачевское командование. «Над тем парадоксальным механизмом – когда лучших людей, разумных патриотов... государство отбрасывает, потому что их активность кажется опасной – предстоит еще думать и думать»⁷. Как историку Якову Гордину следовало бы знать, что для отечества нашего в отбрасывании лучшей части интеллигенции от кормила власти ничего парадоксального нет. Эта методика, наоборот, вполне закономерна и естественна для страны, не знавшей и не знающей элементов демократии, где в правители вечно выходят люди аморальные, беспринципные с на-

клонностью к демагогии. Тем не менее, Гордин пользуется страницами "Литературной газеты" для того, чтобы умолиť власть имущих не пугаться, спокойно подумать и поверить, что интеллигенция наша не такая уж бяка и намерения у нее самые добрые.

Я не хочу сказать чего-либо дурного о талантливом враче и ученом Федорове, о блестящем знатоке прошлого века Эйдельмане или о Гордине, известном своими отличными книгами о Пушкине, Толстом, декабристах. Вот только интеллигентской болезни своей им не преодолеть никак. А болезнь эта на наших глазах перерастает в банальное верноподданничество. И вовлекаются в нее все новые лица.

Когда Андрея Васнецова, возглавляющего Союз художников СССР, спросили, какие бы он сделал заявления, буде получил бы возможность выступить на XIX партконференции, этот живописец и монументалист ответил: "Я собирался сказать об интеллигенции... Интеллигенцию унижали порой, оскорбляли и даже уничтожали. Но к чести нашей интеллигенции, это не сделало ее врагом Советской власти..."⁸ Не правда ли, очаровательный пассаж! Холопство и лакейская безответность, оказывается, — черты, наиболее украшающие лик советских интеллектуалов. "Ты меня, сударыня, по морде, а я тебя все равно люблю..."

Отсутствие элементарного самоуважения и забвение уроков истории отличают и другого советского интеллигента, писателя Владимира Дудинцева. Как и остальным членам своего клана, ему также не терпится втереться в друзья и советники к вождям. «Интеллигентность — качество общественное... и в ней

должны быть заинтересованы и общество, и власти», — твердит Дудинцев, обрадованный тем, что ему, с его посредственными романами, удастся прогrometer на весь свет уже вторую оттепель. Как и в 50-е годы, он спешит дать властям руководящие указания в вопросах науки, культуры и общественной жизни. Ведь, кто знает, когда еще представится такой случай. «Нужно сделать так, чтобы общество имело возможность "выталкивать" наверх новых, наиболее одаренных, порядочных, наиболее интеллигентных представителей», — вещает Дудинцев⁹. Но одновременно, не забывая, как печально окончилась четверть века назад его эпопея с романом "Не хлебом единым", писатель спешит подтвердить свою верность хозяевам: «Потому я с таким воодушевлением воспринял решения партконференции»⁹.

Перечисленные выше интеллектуалы представляют так сказать левое крыло сторонников Горбачева. Но о своей преданности режиму с таким же энтузиазмом твердит и публика справа: писатели Распутин, Астафьев, Бондарев, многочисленная профессура и художники типа Глазунова. Объединенные идеями общества "Память", они также пребывают в упорном беспамятстве. У них тоже нет никаких претензий к хозяевам страны за развал экономики, истребление миллионов жизней, сговор с нацистами в 1939-м и выселение целых народов в 40-х. Справа действуют так же, как и слева: клянутся партии в верности и сулят нынешнему начальству несметные интеллектуальные богатства, если только из позовут для консультаций и рекомендаций.

Может показаться, что интеллигентские сирены действительно обаяли Горбачева. Каких-то интеллектуалов он пригрел. Академики Заславская и Аганбегян, драматург Михаил Шатров, писатели Айтматов и Залыгин, публицисты Е. Яковлев и В. Коротич, как и несколько других, вошли в ближайшее окружение Генерального секретаря. Любимцев берут с собой в международные поездки, им дают право выступать перед иностранными журналистами. Ну и что из того? Любимцы из просвещенных бывали и у Сталина, и у Хрущева, и у Брежнева.

А что с рядовой интеллигентской массой? Ей тоже выбросили кое-какие подачки: право сколачиваться в незапрещенные пока "неформальные" объединения, выпускать на машинке журналы тиражом в полдюжины экземпляров, да время от времени собираться толпой в Москве и Ленинграде то у одного, то у другого памятника (впрочем, с риском быть избитыми молодчиками из отрядов спецназначения). Есть среди них и счастливцы: этому позволили съездить в командировку в Америку, тот сможет теперь выпустить фильм, который прежде снимать запрещали, или опубликовать книжку, прежде выбрасываемую из издательских планов. Ну, а чем заняты остальные, те, кто не пишут книг и не выпускают фильмов? Да тем же, что и всегда: формулируют свои позиции по вопросу о развитии индустрии, сельского хозяйства, международной политики и искусства. Только делают это не на совещаниях в ЦК партии, как им хотелось бы, а у себя на кухне за чашкой чая или рюмкой водки, с гостями, разумеется. Благо, теперь такие разговоры вроде бы не наказуемы. Суть этих

собеседований мало чем отличается от разговоров 60-х и 70-х годов. На интеллигентских кухнях по-прежнему репетируется спектакль под названием ПРИЧАСТНОСТЬ, в котором российская интеллигенция пока не получила главных ролей, но сыграть их, тем не менее, все еще надеется.

...Историческая забывчивость – тяжелая, чреватая смертельными исходами болезнь – продолжает заражать все новые и новые поколения российских интеллигентов. Вспышки эпидемии повторяются всякий раз, когда, с разрешения властей, на отечественном дворе устанавливается очередная оттепель. Симптомы болезни, охватывающей в такие месяцы наших интеллектуалов, общеизвестны: повышенный жар политического энтузиазма, чихание призывами и кашель лозунгами. Не урезонируют нас даже неизбежные после оттепелей политические морозы. Излечимся ли? Остережемся ли? Тут все зависит от самих пациентов. Перед нами тот случай, когда медицина бессильна...

ИСТОЧНИКИ

1. А. П. Чехов. Остров Сахалин (1893 г.).
2. В. И. Ленин. Письмо к А. М. Горькому 15 сентября 1919 года. Полн. собрание сочинений. Издание V, том 51, стр. 47-49.
3. В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Издание V, том 51, стр. 166.
4. Профессор С. Федоров. "Московские новости" от 27 декабря 1987 г.
5. Н. Эйдельман. "Почему я не пессимист. Заметки

об интеллигенции". "Московские новости" от 22 ноября 1987 г.

6. Майя Ганина. "Да святится имя твое...". "Московские новости" № 7, февраль 1988 г.

7. Я. Гордин. "Четырнадцатого декабря на Черной речке". "Литературная газета" от 18 ноября 1987 г.

8. Андрей Васнецов. Нетерпимость означает неверие в себя. "Литературная газета" от 31 августа 1988 г.

9. Владимир Дудинцев. Интервью, данное "Литгазете": Цвет наших одежд. 17 августа 1988 г.

Юрий ФЕДОРОВ

Русский интеллигент на свободе и в лагере

О судьбах русской интеллигенции вплоть до первой четверти нынешнего века написано немало. Это пора наибольшего влияния ее на российские дела и на развитие мировой культуры. Однако в конце этого периода интеллигенция стала проявлять социальную неадаптивность, сочувствуя разного рода негативистам. Не ограничиваясь сочувствием, интеллигенция оказала материальную помощь и поддержку своим авторитетом тем, кто ставил целью ниспровержение исторических оснований русской нации. Видя неспособность тогдашнего аппарата власти к управлению великой державой, многие русские интеллигенты прониклись желанием изме-

нить самую структуру русского общества. Увы, при всей своей просвещенности эти преобразователи не поняли главного: такого рода прыжки и скачки губительны для существования национальных стереотипов.

Ошибка интеллигентов – делателей революции – была связана с их безнадежным отрывом от большинства собственно русского народа. Уже Ф. М. Достоевский в "Преступлении и наказании" словами Порфирия Петровича резко обозначил пропасть между русским мужиком и русским образованным человеком. Смысл высказывания Порфирия Петровича состоит в том, что русский интеллигент для мужика еще больший иностранец, чем иностранец вообще. Такая разобщенность не была случайной. Дворянство, давшее первых интеллигентов, со времен Петра Великого из поколения в поколение впитывало западную культуру. Постепенно забывались при этом национальные традиции и то немаловажное обстоятельство, что, хотя центр тяжести Российской империи находится в Европе, но одно плечо наше уходит в самые глубины Азии.

Конечно, всегда оставалась некоторая, к сожалению, количественно малая, часть интеллигентов, сохранивших духовную связь с народом, понимающих пути национального развития. Но к ее голосу мало кто прислушивался. Большевицкий переворот отрезвил большую часть интеллигентов от левацких устремлений. Лишь немногие отнеслись с сочувствием к захвату власти большевиками. Подавляющее большинство резко метнулось вправо, но было уже поздно. Для борьбы с большевиками партийно разрозненные русские интеллигенты сил не

нашли. Часть из них погибла в Гражданской войне и в пору красного террора. Остальные либо подались в эмиграцию, либо приняли крест рабского существования в Совдепии. Первых ждала многолетняя истощающая борьба за жизнь на чужбине, вторым предстояли годы страха, духовного вакуума, нищенского прозябания, расстрелы и гибель в лагерях.

А пока вымирала русская интеллигенция, народилось нечто новое – интеллигенция советская, с самого начала настоящая на конформизме и второсортной культуре. Великие традиции были отброшены, новые состояли в основном из угодничества перед властью, предательства по отношению друг к другу и к народу. И в тридцатых, и в сороковых последние искры свободного духа, еще кое-где сохранившиеся в несчастной России, безжалостно гасились. Ежедневная обязательная лож пронизала общество. Можно сказать, что роль свободной, творческой, независимой мысли в стране за минувшие 70 лет была полностью сведена на нет. Если мысль эта где и притаилась, то, может быть, лишь в поколении детей, чьи отцы либо погибли в тюрьмах и лагерях, либо, чудом уцелев, вернулись через много лет умирать домой. Именно в таких семьях удалось наконец ясно оценить прошлое и настоящее, осознать свои ошибки и задуматься о будущем.

К духовной жизни новое поколение русской интеллигенции начало приобщаться во время хрущевской оттепели. В лагерях появились преподаватели университетов и студенты последних курсов – участники нелегальных групп, созданных с политическими целями. Это уже

не были безвинные и молчащие жертвы, но активно действующие граждане России, знающие, что им любо и что не любо. Я могу говорить об этом как свидетель, ибо провел в советских лагерях изрядную часть своей жизни.

После первых лет в лагере почти все заключенные интеллигенты полностью и навсегда отбрасывают марксизм как основу своего мировоззрения. В 70-х марксистское мировоззрение у вновь прибывающих в лагерь стало редкостью, а в начале 80-х исчезло полностью. Отсидевшие свои сроки политзеки обычно не забывают друг друга и на воле. Возник диссидентский круг, охватывающий людей, живущих в РСФСР, Прибалтике, на Украине, в Грузии и Армении. Для людей такой судьбы ни национальность, ни разница мировоззрений бывшего товарища по лагерю не имеет никакого значения. Общим и главным для интеллигентов разных национальностей, культур и судеб, прошедших круги лагерного ада, остается неприятие большевистского режима и материализма. Одним из элементов, оживляющих дух их поиска, стало религиозное возрождение.

Сегодня в лагерях можно встретить интеллигентов, дважды и трижды судимых за политическую деятельность, что раньше было большой редкостью. Очевидно, формируется некое единство, какой-то слой людей, дозревших до понимания не только гнусностей режима, но и до убеждения, что гнусности эти терпеть больше нельзя. У меня возникает убеждение, что сегодня снова мало-помалу нарождается то, что Россия с гордостью именовала когда-то русскими интеллигентами. Среди них уже есть замечательные представители культуры, литера-

туры, социальной мысли. Они есть там, я встречаю их и здесь, в эмиграции.

Я лишь совсем недавно вышел из лагеря. Сейчас, эмигрировав, делаю первые шаги в свободном мире. Разумеется, мысли мои в основном там, позади, дома. Я с удивлением прислушиваюсь к гулу "гласности". Она видится мне, как шумная демонстрация полуправды. Да, многое выплыло наружу, но никто не рискует указать пальцем на подлинного виновника зла, да и "местные разоблачения" идут, перемежаясь поклонами в сторону товарища Горбачева и его кампании. Те, кто годами лгал и травил лучших людей страны, теперь торопятся признать свои "ошибки" и рвутся в первые ряды борцов за перестройку. Разумеется, эти кающиеся и рвущиеся также именуют себя русскими интеллигентами. Порода сия снова и снова всплывает на поверхность при каждой оттепели. Есть среди них талантливые писатели, ученые, профессура, но по духовной сущности они всего лишь советские конформисты, подлинные дети разлагающегося советского режима. Не берусь предсказывать будущее нашей многострадальной родины. Знаю только, что будущее это зависит прежде всего от того, кто действительно будет призван к кормилу власти: русский интеллигент или народившийся за советские годы прихлебатель с дипломом. Этим последним сегодня несть числа.



Александра ОРЛОВА

Судьба артиста

В четвертом томе Музыкальной энциклопедии (Москва, 1978, с. 282) помещена короткая справка о Николае Константиновиче Печковском. После перечисления обязательных биографических сведений говорится: "В 1924–41 солист Ленинградского театра оперы и балета (в 1939–41 художественный руководитель филиала этого театра). Обладал прекрасным голосом, отличными внешними данными, сценическим темпераментом, обаянием. Создал галерею вокально-сценических образов, лучшие из них Герман и Отелло. Другие партии: Синодал, Голицын, Хозе, Радамес, Манрико, Канио. Концертировал; в камерном репертуаре особенно прославился исполнением романсов Чайковского. С 1958 художественный руководитель оперного коллектива дома культуры им. Цурюпы (Ленинград)".

Все верно. Только позвольте! А куда же сгинули 17 лет – между 1941 и 1958? Ах, как знакома эта фигура умолчания... Однако давайте все по порядку.

К сожалению, я не располагаю печатными или архивными материалами о жизни и деятельности Николая Константиновича Печковского и предлагаемая статья основана преимущественно на том, что сохранилось в памяти. Естественно,

здесь возможны неточности, упущения, за указание которых я буду весьма признательна. Неизбежны также личные воспоминания, ибо профессиональная судьба автора этой статьи в значительной степени сложилась под воздействием искусства артиста.



Труднее всего описать словами голос певца. Сказать, как это сделано в Музыкальной энциклопедии, что у него был лирико-драматический тенор, или даже что голос был большой, бархатного тембра, необычайного тепла – все это общие слова, одинаково относящиеся ко многим замечательным вокалистам.

У Печковского был не просто лирико-драматический тенор, а баритональный тенор с обертонами необыкновенной красоты и выразительности. Такой глубины и теплоты звука я больше ни у кого не встречала. С одинаковым блеском он исполнял, казалось бы, такие разные партии, как Герман и Ленский, Отелло и Вертер.

Впервые я услышала Н. К. Печковского зимой 1923 года, когда на гастроли в Петроград приезжала оперная студия, руководимая К. С. Станиславским. Спектакли проходили в Большом зале консерватории. Меня повели на "Евгения Онегина". И не только я – 12-летняя девочка – но буквально весь город был потрясен и очарован Ленским-Печковским. Говорили, что певец совсем по-особому раскрывает образ юного поэта, а его необыкновенный голос поражает с первого звука.

Вершиной исполнения этой партии мне казалась не знаменитая ария "Куда, куда вы удалились", а ариозо в сцене ларинского бала "В вашем доме" — сколько тоски и боли вкладывает артист в эти слова! Голос его в ансамбле, не перекрывая других, гармонично сливаясь с ними, звучал с особенным трагизмом. И еще поражал Печковский в дуэте перед дуэлью "Враги, давно ли друг от друга..." Да и "запетая" ария "Куда, куда" прозвучала необычно. А сколько нежности вкладывал он в признание-ариозо "Я люблю вас, я люблю вас, Ольга"... Конечно, то, что я пишу сейчас, — относится не к одним впечатлениям девочки, на них наслоилося многократно слышанное потом.

Вскоре после гастролей студии Станиславского Печковский получил приглашение в ленинградскую оперу. Но перед тем как стать прославленным артистом, он успел пройти довольно сложный и необычный путь.



Николай Константинович Печковский родился 1 (13) января 1896 года в Москве. Несмотря на увлечение пением с детства, он начал свою артистическую деятельность (в 1913 году) как драматический актер. Четыре года проработал в Московском народном доме, где в числе других роле исполнял Незнамова в пьесе Островского "Без вины виноватые". (Много лет спустя, в первой половине 30-х годов, я видела его в роли Незнамова в сборном спектакле. Он играл без всякого, присущего многим исполнителям этой роли мелодраматизма, с такой ис-

кренностью, что во время его последнего монолога не только сам артист, но и весь зал заливались слезами. Смею уверить, что в драме Печковский был не менее ярк и талантлив, чем в опере.)

Итак, четыре года в драме. Сам певец называет это время "одним из этапов на долгом и трудном пути к сценическому образу Германа" (здесь и далее цитаты взяты из статьи Печковского "В поисках правдивого образа" в сборник "Чайковский и театр", Москва, 1940). А затем, как это часто бывает, помог случай. По ходу действия в какой-то пьесе артист исполнил романс. Его голос обратил на себя внимание, и ему предложили попробовать свои силы в опере.

"Я пошел на пробу, - вспоминает Печковский, - и не задумываясь, спел по слуху "Прости, небесное созданье", спел то, что давно упорно звучало во мне и, очевидно, требовало какого-то исхода".

Он был (в 1918 году) принят в музыкальную труппу и начал серьезно учиться вокальному искусству. Казалось бы, молодой певец достиг желаемого. "Передо мной открывался прямой и ясно видимый путь к намеченной цели, - рассказывает он. - Но то, что мне казалось ясным, было не столь очевидно для других и в первую очередь для моих учителей. Почтенные профессора с поразительным единодушием старались убедить меня, что я не тенор, а баритон. В театре держались того же мнения и предложили уйти: баритонов был избыток".

Через некоторое время, "наперекор авторитетам вокального искусства", Печковский дебютировал в театре Московской музыкальной

драмы. Он исполнял партию Синодала в опере Рубинштейна "Демон". Но вскоре артиста сократили "за безголосицу". Однако это ничуть не поколебало его веры в свое призвание.

...В партии Синодала я слышала Печковского неоднократно в ленинградской опере. Спектакль в то время был довольно серым. Но Печковский-Синодал казался не просто оперным героем, а живым, страстно влюбленным, темпераментным человеком, безудержно, несмотря на все препятствия, стремившимся к невесте. Его предсмертная сцена поражала зрителей-слушателей.

Изгнанный из Музыкальной драмы, Печковский в 1921 году пошел на пробу в оперную студию, руководимую К. С. Станиславским, и был принят. Первой большой партией, порученной ему, оказался Вертер в одноименной опере Массне. Полтора года готовился артист к выступлению. Я видела его в роли Вертера в начале 30-х годов. Привлекал не только внешне романтический облик гётевского героя (в этом отношении, наверное, никто не может сравниться с поэтическим обликом Собинова). Поражало глубочайшее проникновение артиста в самую душу персонажа. Вертер Печковского был подлинным, неповторимым Вертером Гёте-Массне.

"На этой уже взрыхленной почве высокой романтики в очень короткий срок родился образ Ленского, — вспоминает Печковский. — Передо мной был великолепный романтический образ, созданный Л. В. Собиновым. Я восхищался этим замечательным мастером оперной сцены, но у меня никогда и в мыслях не было подражать ему. Я носил его костюм, его парик, но не

копировал. Я даже готов был на провал, лишь бы мне донести через образ свое, присущее мне одному”.

Это почувствовала и оценила публика. Явился артист с яркой, неповторимой индивидуальностью.



После “Евгения Онегина” в студии Станиславского я услышала Печковского только через пять лет, хотя все эти годы он пел в Ленинграде.

18 ноября 1928 года состоялся едва ли не первый большой концерт артиста после его недавней женитьбы и возвращения из Милана, где он несколько месяцев стажировал. Большой зал Филармонии был переполнен.

За годы, что я его не слыхала, Печковский возмужал, и его несравненный дар расцвел. Голос приобрел еще большую гибкость и силу, а декламация была столь выразительная, что каждый исполненный им романс превращался в волнушую сцену. Художественное потрясение было настолько велико, что после этого концерта я старалась не пропускать спектаклей и концертов с участием Печковского.

В пределах статьи невозможно рассказать о всех его ролях. Скажу лишь, что ни один из созданных им образов не напоминал другой. Не было, например, ничего общего между муками ревности дона Хозе (“Кармен” Бизе) и Канио (“Паяцы” Леонкавалло) или между любовью Вертера и Каварадосси (“Тоска” Пуччини). Каждая партия у Печковского как в вокальном, так и в сценическом отношении

развивалась по свойственным только ей музыкальным законам. Здесь, конечно, оказывала свое благотворное воздействие школа Станиславского, учеником которого Печковский с гордостью называл себя. Школа сказала и на проникновении артиста в каждую исполняемую им роль, и на его удивительной пластике. Это не было даром перевоплощения, а именно вживанием в образ — ведь, в сущности, Печковский оставался самим собой, его неповторимая индивидуальность всегда ощущалась.

Другие оперные актеры были прежде всего певцами, в Печковском же совмещались оперный певец и драматический артист. Характер игры его отличался от традиционно оперного. Он избегал условных жестов и поз, хотя все движения его, вся пластика подчинялись музыкальному ритму.

...Впервые той же осенью 1928 года я услышала Печковского в "Пиковой даме" в партии Германа, которая, по всеобщему мнению, стала его коронной ролью. Многих Германов довелось мне слышать и в то время, и впоследствии, но никогда ни один исполнитель не воплощал так идеально, с такой поразительной силой, глубиной и правдой образ, созданный Чайковским. Кому посчастливилось видеть и слышать Германа-Печковского не один раз, тот мог наблюдать, как артист никогда не исполнял эту партию одинаково. В каждом спектакле возникали новые нюансы, появлялись неожиданные интонации и жесты, и даже тогда, когда певец бывал не в форме, он избегал раз и навсегда выработанного стереотипа.

По словам самого Печковского, еще в детстве, впервые услышав "Пиковую даму", он

проникся чувством страха: "...решающую роль здесь играла не трагическая ситуация; страх шел от музыки, от оркестровых звучаний, с которыми уже в то время в моем представлении был неразрывно связан образ Германа".

В соответствии с замыслом композитора Печковский подчеркивал обреченность Германа. Тема рока проходит через всю оперу и она определила игру артиста. Поэтому-то чувство страха перед неумолимой судьбой стало главным в его исполнении. В своей интерпретации Печковский развивал те чувства, которые испытывал Чайковский, создавая "Пиковую даму". Работая над оперой, композитор неоднократно писал близким о страхе, который его преследовал, "даже до того, что одно время боялся появления призрака Пиковой дамы". Когда же Герман умирал, Чайковский оплакивал его как самого доброго и близкого человека.

С момента появления Германа-Печковского на сцене зрителя охватывало ощущение тревоги и обреченности героя - жертвы неумолимой судьбы. Мимика артиста, каждый жест, не говоря об интонациях, были идеальным воплощением музыки. И нигде никогда на протяжении всей многообразной и трудной роли не возникало ни единого "разночтения" или расхождения с партитурой.

Позже, в роли Отелло, выявились какие-то новые, дотоле неведомые стороны его таланта. Печковский играл не слепого ревнивца, а благородного доверчивого человека, трагедия которого заключалась в потере веры в святой идеал. Мне удалось побывать на репетициях и я могла проследить, как лепил артист этот

сложный трагический образ, как искал нужные вокальные и сценические краски. Особенно поражаало, как менялось поведение Отелло под воздействием клеветы Яго: менялись интонации, весь облик героя — от прекрасного, безмятежного, насыщенного счастьем любви дуэта с Дездемоной в первом акте к отчаянию и бешенству последующих сцен.

Талант Печковского был бесконечно разнообразен. Артист создал целую галерею оперных героев. Разве можно забыть его дона Хозе, или Манрико ("Трубадур" Верди), или Альфреда ("Травиата" того же композитора). Он был мудрым, трусливым, насмешливым и коварным Голицыным ("Хованщина" Мусоргского) и блистательным авантюристом — Самозванцем ("Борис Годунов" того же автора). А сколько отчаяния, моментами бесшабашности, временами нежности и боли было в его Рикардо ("Бал маскарад" Верди).

Одна из лучших ролей Печковского — бог огня Логе ("Золото Рейна" Вагнера). Как он преображался! Высокий, крупный, становился маленьким, юрким, быстрым как пламя. Это была поистине танцевальная пластика, когда он в развевающемся красном одеянии выбегал на сцену по призыву Вотана: "Логе! Логе!" Каждый жест, каждый поворот головы, тела, рук, прыжки — вся гамма скульптурных поз была абсолютно синхронна музыке. Казалось, перед нами живое воплощение стихии огня. И голос звучал совсем не так, как в драматических или лирических партиях.

Некоторые роли Печковскому были не по голосу. Если не ошибаюсь, он никогда не пел Герцога в "Риголетто" Верди и лишь раз — и

то не очень удачно — спел Фауста в опере Гуно (в этой роли я его не слыхала). Редко выступал артист и в партии Ромео ("Ромео и Джульетта" Гуно). Но зато какой он был Ромео! Сама поэзия.

К сожалению, я лишь один раз слыхала Печковского в "Аиде" Верди. В 1937 году прежний исполнитель партии Радамеса был репрессирован (не могу вспомнить его фамилию; это был тенор с большим, но бесцветным голосом). Печковский вошел в старый спектакль, пользующийся большим успехом особенно благодаря двум замечательным певицам — В. К. Павловской (Аида) и С. П. Преображенской (Амнерис). И вот — еще одна безукоризненно спетая и сыгранная роль. Самое сильное впечатление произвела на меня последняя сцена оперы — предсмертный дуэт Аиды и Радамеса, замурованных в подземелье, сопровождаемый похоронным пением. Это была моя последняя встреча с Печковским в пору его расцвета, так как я переехала в Москву и вернулась в Ленинград накануне войны.

*

Он был в зените славы, когда артистическая карьера его резко оборвалась.

Летом 1941 года Печковский с женой и матерью жил на своей даче в Карташовке под Сиверской (по Варшавской железной дороге). В первые дни войны Николай Константинович и Таисия Александровна переехали в город, но на даче оставалась его мать Елизавета Тимофеевна. Она была нездорова и решила еще немного

пожить на свежем воздухе. Между тем военные события развивались с катастрофической быстротой, и пребывание в Карташовке стало опасным. Печковский поехал за матерью. Оказалось, что в его отсутствие Елизавета Тимофеевна слегла, и он застал ее в тяжелом состоянии. Сразу вывезти больную было невозможно, следовало дожидаться улучшения. Между тем, фронт приближался, Карташовке грозило быть отрезанной от Ленинграда.

Эти факты общеизвестны. А дальше существуют две версии. Одна исходит от организовавшего спасение Печковского бывшего начальника партизанского отряда. Об этом уже после войны он рассказал моему второму мужу, композитору М. А. Глуху, участнику обороны Ленинграда. Другую версию поведал мне сам Печковский вскоре после возвращения с Колымы.

По рассказу бывшего начальника партизанского отряда (его фамилией я, к сожалению, не поинтересовалась), когда Карташовка оказалась в окружении, был тщательно разработан план спасения Печковского. План мог бы пройти без сучка и задоринки, если б Николай Константинович явился на условленное место в лесу. Дважды его предупреждали, посылали связного и партизан к месту встречи, но оба раза Печковский не явился. Неудавшаяся операция стоила жизни нескольким партизанам. "И этого я ему никогда не прощу", — говорил рассказчик с невероятной злобой. (Человек этот не мог забыть, как он считал, предательства певца и гибели товарищей.)

Печковский, избегавший вспоминать о прошлом, однажды рассказал мне следующее. Когда

немцы еще не заняли Карташовку, он не знал, как вывезти больную мать. Никто тогда понятия не имел, где свои, а где враги. Однажды к нему постучали в окно, и деревенский мальчонка молча передал бумажку. Там содержался план встречи с партизанами. Записка была неграмотная, план нечеткий, к тому же у него на руках была умирающая, а спасение предлагалось ему одному. На вопросы Печковского мальчик ничего не отвечал, а слова Н. К., что умирает его мать, видимо, пропустил мимо ушей. Через несколько дней снова явился мальчик с запиской. Печковский испугался, не провокация ли это, не хотят ли его выманить немцы. Но если бы и поверил он связному, как можно было оставить мать?! А еще через несколько дней пришли немцы. Елизавета Тимофеевна умерла почти сразу после этого, Печковский же остался на оккупированной территории.

Я верю его рассказу. Впрочем, и начальнику отряда партизан тоже можно верить. Просто он располагал недостаточными сведениями. Но, к несчастью, именно его показания явились решающими. И НКВД поверил только ему.

О судьбе Печковского в пору оккупации сохранилось мало свидетельств. Сам Николай Константинович говорил мне, что просто не в силах рассказывать об этом времени, которое кажется кошмарным сном. Известно, что он пел в Гатчине (когда Гатчину освободили советские части, многие видели обрывки афиш, расклеенных по городу). Говорят, будто его возили в Германию и заставляли петь там.

Один случай мне рассказал В. Л., который видел и слышал Печковского в Риге.

Шел второй или третий год войны. В Риге объявили концерт Печковского, причем на афише указывалось, что русским вход запрещен. Узнав об этом, певец предупредил администрацию, что не будет выступать, если его соотечественников не пропустят в зал. И русские на концерте были. Вид артиста потряс В. Л.: плохо одетый, сильно исхудавший, он казался измученным и больным. Но пел так, что публика плакала.

Когда его спросили: "Почему, Николай Константинович, вы соглашались петь перед немцами?" — он с жалкой (именно жалкой!) усмешкой ответил: "Я был голоден. А ведь ничего другого, кроме пения, я делать не умею. И я боялся потерять голос". (Ему особенно инкриминировалось, что он соглашался петь врагам.)

О судьбе Печковского поведал А. И. Солженицын в третьей части "Архипелага ГУЛАГ" (глава "Муза в ГУЛАГе"). Привожу рассказ писателя полностью.

"Кумир Ленинграда тенор Печковский в начале войны попал под оккупацию на своей даче под Лугой, затем при немцах давал концерты в Прибалтике. (Его жену, пианистку, тотчас же арестовали в Ленинграде, она погибла в рыбинском лагере.) После войны Печковский получил десятку за измену и отправлен в ПечЖелДорЛаг. Там начальник содержал его как знаменитость: в отдельном домике с двумя приставленными дневальными, в паек ему входило сливочное масло, сырые яйца и горячий портвейн. В гости он ходил обедать к жене начальника лагеря и к жене начальника режима. Там он пел, но однажды, говорят,

взбунтовался: "Я пою для народа, а не для чекистов", - и так попал в Особый Минлаг. (После срока ему уже не пришлось подняться к прежним концертам в Ленинграде.)" (Александр Солженицын. Собрание сочинений, том VI. Вермонт - Париж, 1980, сс. 457-458).

Не могу точно вспомнить, когда Печковский вернулся в Ленинград. Мне кажется, что он отсидел свою "десятку" и полной реабилитации так и не добился. Правда, ему вернули звание народного артиста РСФСР, ордена, медали, вернули дачу в Карташовке, чудом уцелевшую, дали пенсию, соответствующую его званию. Предложили прежнюю квартиру на Лермонтовском проспекте, но он попросил предоставить другую: слишком тяжело было бы вернуться на старое пепелище.

Вскоре после приезда в Ленинград Печковский женился на старой своей поклоннице, Жене Кудиновой. В течение всех этих страшных лет Женя поддерживала его продуктовыми посылками. Она и Софья Петровна Преображенская - верный друг и товарищ Печковского - спасли певца от голода и дистрофии.

"Как я могу отблагодарить тебя за все, что ты для меня сделала? - спросил Женю Печковский. - Хочешь, я женюсь на тебе?" Она, конечно, согласилась. Знаю это с ее слов.

Оба решили создать семью, а так как заводить своего ребенка было поздно, усыновили мальчика Илюшу из музыкального детского дома. Отдали его в музыкальную школу. Он окончил консерваторию и в последние годы жизни отца аккомпанировал ему в концертах. Таким образом семейная жизнь Печковского внешне, во всяком случае, наладилась. А вот с

артистической карьерой возникли трудности, так никогда и непреодоленные.

Вначале ему вообще запретили какие бы то ни было выступления: ни в театре, ни в Филармонии, ни даже в районных домах культуры он петь не мог. Пустили даже слух, что ежели Печковский выступит, бывшие партизаны с ним расправятся. Не исключено, что это была инсинуация ГБ или выдумка завистников. Среди них особенно отличался тогдашний премьер Кировского театра, драматический тенор В. Г. Ульянов, бездарный актер с некрасивым, крикливым голосом. Конечно, он боялся появления столь сильного конкурента. А будучи секретарем партийной организации театра, Ульянов мог не пускать Печковского на сцену. Этим и объясняется безнадежность ситуации.

Не сразу, с большими трудностями Печковскому, наконец, разрешили изредка давать концерты в зале одной из школ близ Крюкова канала, но без афиш. Маленький зал бывал набит до отказа, в том числе и солистами Кировского и Малого оперного театров. О концертах всегда сообщала жена певца Евгения Петровна, она же распространяла билеты. Аккомпанировал Печковскому его прежний пианист, Владимир Петрович Ульрих, тоже вернувшийся из концлагеря, где он находился с конца 30-х годов.

Мне особенно запомнился первый концерт. Билеты ("нет ли лишнего билетика?") ловили за несколько кварталов. Публика волновалась. Было страшно, что певец, перенеся столько страданий, мог потерять голос. Ведь внешне он очень изменился — постарел, обрюзг, исчезла прежняя легкость движений. Но с первой же

ноты, взятой им, страх прошел. Что-то неуловимое произошло с его чарующим тембром, но по-прежнему голос звучал прекрасно, доходил до самых глубин души. Может быть, исчезла прежняя сила, но певец не позволял себе никаких "поблажек" и честно (как тогда же говорил с благоговейным восторгом один наш общий знакомый певец) выпевал все ноты.

В это время я довольно часто виделась с Печковским и вскоре начала убеждать его заняться мемуарами. Предложила свою помощь. Мы встречались несколько раз, я записывала его рассказы. (Вот тогда-то он и поведал мне свою невеселую эпопею военных лет.)

А потом обстоятельства оборвали наши планы. Он увлекся работой с певцами самодеятельности и все время посвящал подготовке молодых артистов, у меня появились тяжелые семейные заботы. Все материалы остались у него. Продолжил ли Печковский писание мемуаров — не знаю.



После возвращения в Ленинград среди прочих "благ" Печковский по настоянию его друзей-артистов и в первую очередь Преображенской получил постоянный пропуск в Кировский театр.

Помню однажды (в то время я была ленинградским корреспондентом журнала "Музыкальная жизнь") мы с ним встретились в директорской ложе на одном из первых представлений "Чародейки" Чайковского. В ложе (как, впрочем, и в зале) было пусто, и мы

свободно разговаривали. Княжича, естественно, пел Ульянов и пел отвратительно. Остальных, кроме Княгини-Преображенской, я не запомнила. Да и Ульянова помню только потому, что из тогдашнего разговора с Печковским поняла, кто, собственно, является его главным недругом (вся труппа стояла за возвращение артиста, и лишь Ульянов возражал). Говорили мы и о том, как скучно, рутинно поставлена "Чародейка". И из отдельных реплик Печковского я ощутила, какого прекрасного режиссера, а не только певца, лишена ленинградская публика. В нем таились неисчерпаемые возможности. И так хотелось работать!

Наконец, в 1958 году ему разрешили создать оперную студию в захудалом и дотоле неизвестном доме культуры (не помню, какого завода) им. Цурюпы на Обводном канале в районе Балтийского вокзала.

Года два шла упорная подготовка "Пиковой дамы". Участники – солисты, хор, оркестр, балет – все были любителями. Дирижировал В. П. Ульрих. Спектакль получился куда лучше, чем в захиревшем профессиональном Кировском театре (ведь всех мало-мальски хороших певцов, как только они появлялись, забирал Большой театр). "Пиковая дама" имела несомненный успех. Однажды в роли Германа выступил сам Печковский. Пел он, конечно, бесподобно, но грузный, сильно располневший, выглядел жалким на маленькой сцене. Не надо было ему являться перед публикой в этом не соответствующем его облику тесном помещении! Если б он выступал на огромной сцене Кировского театра, где сценическую площадку к тому же отделяет от зрительного зала широкая оркестро-

вая яма, его Герман не произвел бы такого тягостного впечатления. Кажется, артист сам почувствовал, что ему не следует выступать на клубной сцене и, если не ошибаюсь, вторично уже там не пел. А "Пиковая дама" продолжала успешно идти.

Готовился какой-то новый спектакль, работа велась медленно, не один год, так как участники могли репетировать только в свободное от службы время, да к тому же не были профессионалами.

После 1963 года я только раз или два была на концертах Печковского. Но мои друзья посещали все его выступления. (В то время ему уже аккомпанировал сын.) Однако выступлений становилось все меньше. Печковский начал болеть. А потом концерты и вовсе прекратились...

Умер Н. К. Печковский 24 ноября 1966 года. Похороны были очень скромными, без гражданской панихиды и, конечно, без какого-либо участия Кировского театра, солистом которого он был 17 лет! Похоронили его на Шуваловском кладбище, рядом с могилой матери, прах которой он перевез из Карташовки, как только вернулся в Ленинград. Евгения Петровна поставила мужу памятник. (Сама она не надолго пережила Печковского.)

Над Шуваловским озером возвышается бюст артиста, и на постаменте высечены слова известного романа:

"Пусть умер я, но над могилой гори, сияй, моя звезда".

Мне пишут друзья, что здесь всегда лежат свежие цветы – живы еще те, кто помнит его Германа, его Отелло.

Так незаметно ушел из жизни замечательный певец, которым родина должна бы гордиться. И ничего, ничего не осталось от него, кроме заметки в музыкальной энциклопедии (и еще более кратких справок в других словарях), одной пластинки, да небольшой автобиографической статьи в сборнике, давно ставшем библиографической редкостью. Да еще – недоступный для соотечественников рассказ в книге Солженицына.

Если бы Печковский продолжал работать в театре, могли сохраниться грамзаписи, кинокадры спектаклей с его участием, его постановки, наконец, ученики – развивалась бы какая-то традиция...

...На пластинке, выпущенной в 1958 (или 1959) году фирмой "Мелодия", восстановлены архивные записи 1928–1940 гг. Но слушать их тягостно: записи несовершенны, они дают представление только о мастерской дикции и фразировке замечательного вокалиста, голос же совершенно искажен. Одна лишь запись – речитатив и ария Отелло, сделанная на концерте 1957 года, несколько лучше других.

Я была на том концерте, когда велась запись. И сейчас, слушая ее, вспомнила, какое потрясающее впечатление произвели тогда первые слова речитатива – казалось, артист поет о своей горькой судьбе:

*Боже! Ты послал мне беды, все напасти,
Все униженья и все страданья...*



Последний сталинский нарком от музыки

В мае этого года (1988) в газете "Советская культура" появилась резкая критическая статья профессора Московской консерватории Веры Горностаевой под названием "Кому принадлежит искусство?". В ней приводились цитаты из публичных выступлений первого секретаря Союза композиторов СССР Тихона Хренникова. Высказывания эти – устные и печатные – относились к недоброму периоду конца 1947 – начала 1948 г. Напомню, что в это время Сталин, окончив поход на литературу постановлением о журналах "Звезда" и "Ленинград", решил взяться за советскую музыку. Почему-то принято приписывать инициативу в этом пресквернейшем деле Жданову. Однако смею утверждать, что никакой инициативы при Сталине никто проявить не смел. А наиболее изощренные царедворцы все понимали с полунамека. Так произошло и в музыке.

Предлогом для разгрома явилась поставленная в Большом театре в Москве опера еще совсем молодого Вано Мурадели "Великая дружба". Речь в ней шла о революционной борьбе на Северном Кавказе. Среди действующих лиц – Киров и Орджоникидзе. Надо сказать, что музыка Мурадели была примитивной настолько, что се-

годня ее стыдно было бы показать на первом курсе музыкального училища. Тем более странными звучали обвинения в формализме, конструктивизме, буржуазном извращении революционных идей. Впрочем, последнее обвинение таило в себе некий смысл. У Сталина были свои взгляды и счеты с Северным Кавказом, особенно после Второй мировой войны. Мурадели неаккуратно посмотрел в либретто и вывел тех, кого "вождь всех народов" считал истинными врагами Северного Кавказа, героями, и наоборот. Сталин, разумеется, оперу не слушал. Ему доложили о порочных идеях либретто. Возможно, это сделал Жданов, а, впрочем?

Последовало постановление ЦК партии «Об опере "Великая дружба"». В нем не только отмечались идейные и музыкальные пороки сочинения, но, по сути дела, предавалась анафеме вся советская музыка в лице ее лучших представителей. Первыми среди обвиняемых в формализме и в скатывании на буржуазные рельсы оказались Прокофьев, Шостакович, Хачатурян и даже еще совсем тогда молодой Свиридов. Я не привожу полный список обвиняемых, так как интересующиеся могут найти его в справочных материалах. Известно только, что достаточно прославленный уже тогда Димитрий Кабалевский вымолил себе индульгенцию предварительным покаянием и обещанием принять участие в разоблачении преступников. Что и было сделано. Вместо него в список для ровного счета попал милейший и вполне ясно музыкально мыслящий композитор Гавриил Попов. Случай приведен для того, чтобы было понятно, с какой принципиальностью составлялся список. И... полетели критические кондоры. Начались

заседания. Их-то вел Жданов. Однако материалы к самому постановлению и к последующим выступлениям Жданова готовила целая бригада. Увы, первым в нее попал уважаемый академик Борис Асафьев (Глебов), окончательно замарав для истории свое некогда славное музыковедческое имя. Тут, очевидно, сыграло роль то, что Асафьев был не только эрудированным музыковедом, но и автором весьма посредственной музыки, особенно балетной, а зависть, как известно, до добра не доводит. И надо сказать, что теоретический уровень выступлений Жданова не выдерживал никакой критики. То ли Асафьев и его помощники не очень старались, то ли Жданов переделал все на свой лад, однако безграмотности в речах хватило бы на дюжину помоек. Естественно, выступали и другие. Кое-кто каялся, но еще больше было обвинителей. И среди них первый из первых, обладатель бодрого звонкого голоса, хитренького взгляда из-под вихрастого чуба Тихон Хренников.



Он был известен как автор нескольких популярных песен, милой музыки для кино и театра, даже написал одну симфонию, кстати, вполне приличную. Но на заседаниях у Жданова стало ясно, что именно Тихон Хренников, выражаясь футбольным языком, играл роль выдвинутого вперед форварда. В его речах не было ни ноты уважения к композиторам с мировым именем, которых избивали, как нашкодивших детей. Беда только в том, что дело могло кончиться не розгами, а лагерем. Тихон Хренников

тогда впервые высказал идею о методе социалистического реализма в музыке. До него такая абракадабра никому в голову всерьез не приходила. Музыка – одно из самых абстрактных искусств. Тут само слово реализм вряд ли применимо, а уж социалистический...

Итак, Тихон Хренников учил великих композиторов методу написания музыки. А Жданов подходил к роялю и в присутствии великих пианистов Прокофьева и Шостаковича наигрывал двумя пальцами мелодии, которые должны были стать примером того ясного и понятного музыкального языка, который и нужен всему советскому народу. Но хватит о заседании. Хотя именно оно определило политический взлет, так сказать звездный час Тихона Хренникова.

Уже в январе 1948 года в газете "Советское искусство" на первой странице появилась фотография Тихона Николаевича, под которой стояло: генеральный секретарь Союза композиторов СССР (позже слово "генеральный" во всех союзах заменили на "первый"). Заметьте, фотография появилась до объявленного на ждановских заседаниях съезда композиторов. Он состоялся позже. Короче говоря, Хренников не был даже формально избран. Он был откровенно и цинично назначен с ведома и согласия самого Сталина. История эта хорошо известна и я остановился на ней так подробно, чтобы показать ту атмосферу нетерпимости, зависти, злобы и сведения счетов, в которой воцарился Хренников вот уже 40 лет тому назад. И правит по сию пору, причем достаточно благополучно. В остальных творческих союзах по несколько раз меняли руководство, полыхали пожары, гремели громы, наступали затишья, а

в Союзе композиторов всегда было затишье. Причем Хренников не уставал повторять на заседаниях: "Мы ведем правильную линию, у нас не было Пастернака, у нас нет художников-абстракционистов, у нас нет идейно-порочных фильмов вроде "Заставы Ильича". Действительно, в сорокалетнем правлении Хренникова Союз композиторов обошелся без громких скандалов, аккуратно обновлялся секретариат из людей, разумеется, Хренникову угодных. Раздавались квартиры, заказы, авторские концерты. Разумеется, по ранжиру, а не то чтобы всем сестрам по серьгам. Но были у Хренникова личности, которых он ненавидел и которым он завидовал откровенно. Первым среди таковых неизменно – Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Возьмем год 1954. Год, когда в советской стране почувствовали некоторую оттепель после смерти Сталина. Шостакович написал изумительную по драматичности и афористичности 10-ю симфонию. Премьеры, как обычно, у него были сначала в Ленинграде, потом в Москве. Дирижировал Евгений Александрович Мравинский. Хренников присутствовал на московской премьере, сидел в директорской ложе, у всех на виду, вместе с супругой, но даже не смог заставить себя приличное время аплодировать. Ушел, когда зал продолжал скандировать "браво". Музыка новой симфонии Шостаковича никого не оставила равнодушным. В ней было все, о чем догадывались, чему сопереживали, что любили, что ненавидели, на что надеялись. Я никогда не забуду смущенное бледное лицо автора, десятки раз выходившего на поклон, и величественную фигуру Мравинского, который сиял от счастья, хотя, как правило,

очень редко улыбался. За кулисами кто-то подошел к Шостаковичу и сказал: "Дмитрий Дмитриевич, ведь ваша музыка об ужасах сталинской тирании и нашем освобождении от нее". Заметьте, это был 1954 год. Шостаковичу достаточно попадало с года 1929, и он ответил совершенно в присущем ему стиле, с характерным почесыванием макушки: "Да, да, совершенно верно, только я прошу вас своими соображениями ни с кем не делиться". Автор данной статьи слышал этот разговор лично. Тогда со своим одноклассником Максимом Шостаковичем он пришел поздравить Дмитрия Дмитриевича.

Итак, громадный успех новой симфонии. Что же делает Хренников? На ближайшем секретариате Союза композиторов он ставит вопрос, и это потом отражает журнал "Советская музыка", о рецидиве формализма в советской музыке. Но тут он хватил через край. Даже в ЦК это не понравилось и дело быстро замяли. Надо сказать, что гибкий и умный политик Хренников всегда учитывал собственный просчет. С этого момента он стал преувеличенно объясняться Шостаковичу в любви. И просто ждал нового случая, чтобы внести сумятицу в и без того израненную душу великого композитора. Случай такой представился осенью 1962 года. Шостакович написал 13-ю симфонию на стихи Евгения Евтушенко. Музыка, разумеется, теперь ни у кого сомнений не вызывала. Шостакович был справедливо канонизирован как классик, и каждую его новую ноту просто неприлично было воспринимать без восторга. Так к чему же придраться? А к стихам, кото-

рые композитор взял для своей симфонии. Особенное возмущение вызвали стихотворения "Бабий яр" и "Очереди". На этот раз Тихон Николаевич вел себя крайне осторожно, умно, но прицел выбрал предельно точный. И сам Евтушенко, и эти его стихи вызывали раздражение в высоких и около-высоких сферах. Каким-то образом, возможно, на одном из кремлевских банкетов, но именно Хренников, как сейчас выяснилось, информировал Хрущева об идейной порочности новой симфонии Шостаковича, который попал под влияние саморекламиста и политического разгильдяя Евтушенко. Хрущев опять же на очередном банкете, это уже совершенно точно, ибо известно со слов самого Дмитрия Дмитриевича, просто сказал ему: "Зачем вы увековечили своей музыкой стихи этого стиляги?" Поскольку разговор был не приватным, то выводы были сделаны немедленно. Симфонию запретили к исполнению, в фонотеке радио пленку, записанную по трансляции, спрятали за семью печатями и фактически постоянно стала звучать она только в прошлом году. Дмитрий Дмитриевич был очень травмирован историей с 13-ой симфонией. Когда Мстислав Ростропович, благодаря хитроумной уловке, сумел вывезти партитуру симфонии на Запад, и она была триумфально встречена в Соединенных Штатах, Дмитрий Дмитриевич смертельно перепугался. Увы, это была реакция многих деятелей искусства, сильно страдавших при Сталине и к новым временам привыкавших с большим трудом. Впрочем, какие это были новые времена? Хренников не ограничивал свою деятельность преследованием Шостаковича. Его острые, узенькие глазки-буравчики давно при-

сматривались к советскому музыкальному авангарду.

Особые хлопоты доставлял ему проживающий сейчас на Западе композитор, клавесинист, органист Андрей Волконский. Дело в том, что волей судеб именно он явился первооткрывателем для советских молодых композиторов додекафонной системы и, вообще, "новой венской школы". Я не хочу сказать, что дарование таких известных теперь всему миру авторов, как Альфред Шнитке, Эдисон Денисов, Софья Габайдуллина, Николай Каретников, развивалось под влиянием Андрея Волконского, просто он первым смело открыл дверь, а за ним — и каждый по-своему — вошли и другие. Тихону Николаевичу это чрезвычайно не нравилось. Он понимал, что имеет дело с новой волной, с генерацией талантливейших людей, возникших не благодаря, а вопреки ему. И он сделал все, чтобы не дать им свободно дышать и работать. Никаких авторских концертов, никаких записей на пластинки до самого последнего времени — только музыка для кино, а эта область Тихону Николаевичу не была подвластна. И это в то время, когда для исполнения музыки самого Тихона Николаевича регулярно выделялись и выделяются лучшие концертные залы и лучшие исполнительские силы. Впрочем, не все. Например, Геннадий Рождественский принципиально не дирижирует музыку Хренникова, а тот, в свою очередь, частенько вредит ему недозволенными приемами. Есть, например, данные, позволяющие утверждать, что уход Рождественского с поста главного дирижера радио произошел не без помощи Хренникова. Андрея Волконского Тихон Николаевич попросту вы-

пихнул из страны. Понимая, что его музыка никогда не будет звучать в концертных залах Советского Союза, Волконский только выразил желание уехать. И в то время, когда люди годами ждали разрешения на выезд, Тихон Николаевич до предела помог сократить срок этой процедуры, чего не скрывал даже сам. Наконец, только в этом году в "Советской культуре" появилась статья, в которой писалось о той непоправимой потере для советской музыкальной культуры вообще и композиторской школы, в частности, которую нанес ей отъезд Волконского.

Разразилась как гром упомянутая вначале статья Веры Горностаевой. Композитор Дашкевич написал ироническую до предела заметку под прелестным заголовком "Все тише, и тише, и тише...". Речь идет, разумеется, о Тихоне Хренникове и о той тормозящей самодовлеющей роли, которую он играет в советской музыке... И Тихон Николаевич меняет тактику.

На выпады прессы отвечают коллективным письмом секретари правления Союза композиторов. Не подписались только ленинградец Андрей Петров и москвич Родион Щедрин, то есть два наиболее крупных композитора из числа входящих в правление и секретариат. Ответ таков: Тихон Николаевич многие лета беззаветно служил общему музыкальному делу, а ошибки определенного периода за давностью и отсутствием явных жертв нужно списать и не травмировать пожилого человека. Это моя конспективная версия ответа секретариата. В отношении советского авангарда Хренников тоже переменялся. Шнитке, Денисов, Габайдуллина и иже с ними чаще бывают за рубежом, чем у

себя на родине. Их больше не укоряют с высоких трибун за передачу своих произведений на Запад. Наоборот, спокойно берут громадную долю отчислений из авторских гонораров, и хренниковский секретариат в восторге от того, что вышеупомянутым композиторам не нужно давать эстраду в Москве или, например, издаваться. Новые времена – новая техника. Для популяризации своей собственной музыки Тихон Николаевич прибег теперь к мере, которую вряд ли назовешь корректной. Он понимает, что серьезные исполнители из числа людей солидного возраста попросту сторонятся его музыки или стесняются играть ее за рубежом. И он обратил свой взор на вундеркиндов. Они сейчас в моде в Советском Союзе. После долгого перерыва со времен незабвенного Буси Гольдштейна возникли в "сибирской бройлерной" Вадим Репин и Максим Венгеров. Репин еще ребенком стал исполнять скрипичный концерт Хренникова, сначала в Большом зале консерватории в Москве, затем в правительственных концертах. Понадобилось талантливому юному пианисту Евгению Кисину лучшая жилплощадь в Москве – и тут фортепьянный опус Хренникова помог. Хуже сейчас обстоит дело с театральными работами Тихона Николаевича. Было время, и лихие ребята, "музыкальные негры", как их называют, крапали из старых театральных сочинений Хренникова балетные партитуры, которые шли в Большом театре. Теперь не то. С трудом два раза в год идет балет "Любовью за любовь", переделанный из хорошей музыки еще молодого Хренникова к спектаклю "Много шума из ничего". Все оперы Хренникова поставил и держит в репертуаре Московский музы-

кальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. Но вот беда — публика не ходит, даже на сомнительный по вкусу и качествам, но достаточно забавный в сценическом воплощении мюзикл "Золотой теленок" по Ильфу и Петрову. Но это, так сказать, дела творческие, которые, как показывает практика, никогда главными в жизни Хренникова не были. Главный же его талант чисто большевистский — захват и удержание власти. 40 лет — не шутка ведь, — и все попытки сегодняшней московской прессы спихнуть его с места пока безуспешны. Он прибегает к ловким тактическим и стратегическим маневрам. Например, два последних пленума Союза композиторов СССР, вполне правомочные освободить его от должности, были заранее и крепко подготовлены. Один "хренниковцы" провели в Кемерово, несмотря на возражения большинства членов Союза композиторов, поддержанных опять-таки прессой. В Кемерово пленум был, так сказать, целевой, посвященный 70-летию советской музыки, и организационными вопросами вроде бы заниматься было неудобно. Кроме того, как объяснил сам Хренников, он давно обещал кемеровскому обкому этот музыкальный праздник и обманывать шахтерский город не намерен. Второй пленум провели под эгидой детской музыки. Как и первый, он даже кворума не собрал. А нужные люди явились все как один, и все обошлось Тихону Николаевичу тихо. Но напор общественного мнения и нападки прессы возрастают. И Хренников прибегает к маневру уже решительному. Он в интервью, данном гаете "Советская культура", обещал на следующем съезде не выставлять свою кандидатуру в ка-

честве первого секретаря Союза композиторов. Следующий съезд будет в 1990 году. А если учесть форму обещания, то не станет ли Тихон Николаевич почетным председателем Союза на манер Маркова-3 в советской литературе? Очень может быть. Так что перспективы у последнего сталинского наркома от музыки весьма радостные. А что до наскоков прессы, то ведь на то и гласность!



ЛИЦО ВРЕМЕНИ

(О последнем романе Ю. Трифонова)

В одном из интервью 1980 года Юрий Трифонов сказал о своем романе "Время и место", готовившемся тогда к изданию*: "Главный герой его – время. Наше время, которое история, и каждый из нас ее творит, осознает он это или нет". И потом еще добавил: "Проблема времени интересует меня чрезвычайно, ибо это категория, изменяющая жизнь".

Интерес к этой категории у Трифонова не случаен – его можно назвать преувеличенным, даже несколько гиперболизированным. Но что же такое время? Ведь сам по себе этот сухой бег секунд, минут, часов и дней ничего не значит – для нас он остается феноменом, пока не одушевится присутствием жизни, присутствием человека. "Я хотел показать время и человека в нем". Эти трифоновские слова можно было взять эпиграфом к любой его книге и к любой рецензии о его книгах. Пруст писал о поисках утраченного времени; по Трифонову же, время, как энергия, не исчезает – оно остается в нас, в нашей памяти, в длинной цепи, протянутой сквозь столетия. Но чем ближе к нам, тем исследование звеньев этой цепи становится все более "взрывоопасным". Поэтому-то у Трифонова столько умолчаний, недоговоренности, аллюзий. "Заканчивать ведь надо немножко раньше, чем того хочется читателю, – объяснял он. – Читатель должен сам докапываться до истины". Конечно, мы докапаемся. Да эта истина и не спрятана, она вся на виду; вблизи, только слишком вблизи; она затемнена подробностями, выступающими на первый план. "Лицом к лицу лица не увидать"...

В последнем романе Трифонова время становится подлинно главным героем, увиденным в нескольких измерениях. Это и "обычное" течение времени, начиная с 30-х годов и кончая 70-ми; это и ретроспекции, возникающие в памяти автора (или авторского "я", которое

* Ю. Трифонов. "Время и место". Издан отдельной книгой в 1984 г., после смерти автора.

у Трифонова всегда где-то "за кадром"); это наконец время, пущенное обратным ходом по воле писателя Антипова, который пишет роман о писателе Никифорове, который в свою очередь пишет о другом писателе, и так далее, вплоть до туманного XVIII века. При этом второй компонент названия – место – остается одним и тем же: Москва. Меняются лишь районы – Тверской бульвар, Якиманка, Рождественский бульвар, новая окраина... "Москва окружает нас как лес, – пишет Трифонов. – Мы пересекли его. Все остальное не имеет значения". Эти слова, которыми кончается роман, звучат как бы итогом, уже не "предварительным", а окончательным; звучат прощанием – не "долгим", а последним, прощанием навек. Но с кем? С друзьями, с воспоминаниями, с жизнью? По мысли автора, это все равно. "Ведь вспоминать и жить – это цельно, слитно, не уничтожимо одно без другого и составляет вместе некий глагол, которому названия нет".

Беседуя о творчестве Трифонова с В. Максимовым на страницах журнала "Стрелец" (№ 8, 1987), М. Геллер подметил, что именно страх увидеть реальность заставлял Трифонова с такой тщательностью выписывать все мелкие детали быта и времени, приближаться к ним вплотную. Трифонов умел это делать, пожалуй, как никто другой. Он сам много говорил о быте, о его магической власти над людьми, над многомерностью этого понятия. Но что же такое быт, в конце концов? "Химички, парикмахерские... Да, это называется бытом. Но и семейная жизнь – тоже быт... И рождение человека, и смерть стариков, и болезни, и свадьбы – тоже быт. Любовь, ссоры, ревность – все это тоже быт. Но ведь из этого и состоит жизнь!" Если вдуматься, так оно и есть, хотя нам все время кажется, что существует где-то еще другая, настоящая жизнь, и мы пытаемся туда пробиться, забывая о том, что жизнь одна – именно "этот нескладно сложенный стог сена, где все связано, сцеплено, висит, лежит, трется, шуршит друг на друге..." Эти попытки пробиться за грань – может быть, они-то и составляют сущность всякого искусства.

Антипов из романа "Время и место" писал о "синдроме Никифорова" – человека, боящегося увидеть реальность, "дочерпать" до самого дна. В какой-то мере этот синдром был присущ и самому Трифонову, да и вообще любому писателю, пишущему под цензурой. Но мне кажется, что Трифонов гораздо более боялся другого – забыть. Это страх когда-нибудь забыть все подробности, "лицо времени" – начиная с ареста отца и

кончая надписями карандашом на лестнице – он-то и толкал Трифонова описывать все! "Все остальное – в середине", – так завершается "Опрокинутый дом". И в этой середине и самое время, перетекающее в память, становящееся так незаметно из будущего настоящим, а из настоящего прошлым.

Можно подумать, что Трифонов, писавший о самой "насушной" современности, о повседневных жизненных, бытовых (опять быт!...) проблемах – нарочно привлекает этим читателя, возвращаясь неизменно к прошлому. Будь это далекой историей – народовольцами, началом века, гражданской войной, тридцатыми годами, – а часто событиями только 20-ти и даже 10-летней давности. Но ведь они тоже – история! Для тех, кто будет жить после нас, да и для нас тоже. Память способна быстро забывать то, что она не хочет помнить. А по Трифонову, помнить надо все. Ибо "человек есть нить, протянутая сквозь время, тончайший нерв истории, который можно отщепить и выделить – и по нему определить многое". Так думал Сергей из повести "Другая жизнь", историк, стремившийся, в отличие от Антипова, дочерпать до конца, до самой сути. Он не умел закрывать глаза, "чтобы не видеть", потому и рано ушел из жизни. Характерно, что тема, которой занимался Сергей – "Московская охранка в 16-17-м годах", была, оказывается, настолько секретной и так связанной с современностью, что ему не только не дали защитить по ней диссертацию, но и вынудили покинуть институт. Конечно, дело было не только в этом – еще и в его характере, который не гнулся под нажимом судьбы и житейских неурядиц... Принято считать, что персонажи Трифонова – люди мягкотелые, слабые, способные на компромисс – в соответствии с "духом времени"... Но если приглядеться, в них почти всегда есть тот нравственный стержень, который "пружинил, но не ломался". И это было бедой – конечно, для них же самих...

Такой же "нитью, протянутой сквозь время" ощущает себя и Гриша Ребров из "Долгого прощания", разыскивающий сведения о, казалось бы, никому не нужном и давно забытом литераторе Прыжове. Кто теперь помнит автора "Истории кабаков" и "Истории нищих на святой Руси", неудачника, горького пьяницу, "незадачливого бунтовщика"? Сто лет назад он

* Такой же временной пласт – в его до сих пор не опубликованном романе "Исчезновение", написанном, по слухам, еще в 60-х годах.

канул в вечность, однако мысли о нем не отпускают Реброва. И другой персонаж, "обреченный на забвение" – Николай Васильевич Клеточников, народоволец. Был простым исполнителем – "исполнял волю собственной совести". Но эти обреченные на забвение фантомы возвращают спустя много лет, как неизбывный дурман. По Трифонову, ничто не должно быть забыто, ибо "история страны – это многожильный провод". Все переплетено, закручено. Старый режиссер, беседуя с Ребровым о Клеточникове, мечтает изобразить на сцене эту слитность, это течение времени, несущее всех и все. Уносящее туда, откуда нет возврата. Но, может быть, все-таки есть? Согласно русским философам прошлого века – Розанову, Федорову, смерть не означает конец, а лишь перерыв на некое "глухое время". И сами-то эти философы теперь воскресли в СССР после долгого, глухого периода замалчивания, похожего на зимнюю спячку... Недаром и Никифоров, антиповский герой, "потаянно и сладко" почитывает Розанова. Это были годы серого безвременья, годы застоя, когда никому не верилось, что жизнь может измениться. Но она все же менялась – сначала исподволь, постепенно, а потом внезапно все "рухнуло, как обвал, взорвалось, обрушилось и подтвердилось"; и это была весна той, первой, "оттепели", напоминающей, хоть и отдаленно, оттепель теперешнюю. А главными приметами ее как раз и явились неожиданные "воскресения из мертвых". Так воскрес дед Дмитриева из трифоновской повести "Обмен"; так воскресла мать Антипова и писатель Михаил Тетерин из романа "Время и место". Трифонов редко определяет время точными датами – он определяет его приметами, деталями, которые красноречивее любых дат. "Было время неожиданных новостей, внезапных перемен, невероятнейших слухов"... Для нас ясно, что речь идет о лете 56-го. В "Другой жизни" Трифонов пишет о начале весны, тревожной и неясной, когда "все кругом, затаив дыхание, чего-то ждали, предполагали, шептались и спорили". Это, конечно, весна 53-го, после похорон Сталина.

Говоря о "воскресших", Трифонов, как обычно, многое не договаривает – вернее, он не договаривает почти все, оставляя это "все", подробное и, может быть, лишнее, за кадром. Но нам, "детям страшных лет России", достаточно и намека, достаточно полуслова. Дед Дмитриева, старый большевик, "недавно вернулся в Москву, был очень болен и нуждался в отдыхе". Откуда он мог вернуться таким? Ясно, что из лагеря или ссылки, где до середины 50-х годов находились все

уцелевшие старые большевики... Павел Летунов, герой романа "Старик", вернулся незадолго до войны "дранный и больной". Откуда? Оттуда же, в период короткой реабилитации после ежовского террора. Трифонов нигде не упоминает слова "лагерь", как и слов "репрессия", "террор", "культ личности". Называть вещи прямолинейно, в "лоб" - не в его правилах. Он даже Сталина ни единого раза не называет по имени, хотя о сталинизме как эпохе написаны почти все его произведения. Это происходит не от "страха увидеть", не от какой бы то ни было боязни. Тут дело скорее всего в самой стиливой манере Трифонова, которую он вырабатывал долго и мучительно. Стилль его может задевать, не нравится - но он лишен всякой вульгарности, трафаретности, "разжевывания" истин.

Если верно, что всякая книга - это айсберг, уходящий под воду на треть, то трифоновский айсберг всегда погружен вглубь на половину, а то и на четыре пятых. Можно ли высчитать это математически?.. Можно ли как-то измерить боль, страдание, тоску по ушедшим? "Нет инструмента". Нечем это измерить. Разве что литературой - да и то далеко не всякой. Вся жизнь может понадобиться на такое умение. Маститый писатель Киянов из "Времени и места" говорит своему ученику Антипову: "Литература - это страдание!" Писать надо о страдании или о сострадании, через которые прошел. Мысль эта через много лет догоняет Антипова, который своему персонажу Никифорову придает кияновские черты. А сам Киянов умирает жарким летом 56-го, после внезапной встречи со своим старым другом и соавтором Тетериным, воскресшим из небытия.

Незадолго до смерти Киянов сказал: "Есть величие и ничтожных поступков". То, что он помог Антипову удержаться в институте в конце 40-х, несмотря на сигналы о его "неблагонадежности" - как раз и было таким поступком, требующим известной смелости. Можно ли назвать его ничтожным? Собственно, каждый поступок уже выделяет человека из других, а тогда выделяться было опасно. Десять лет назад, когда арестовывали его друга, Киянов не совершил поступка, не выступил в его защиту, и это подспудно мучало его, заставляло страдать. Но чего здесь было больше - страдания или сострадания, жалости к другу или к себе? В 56-м году, когда они встретились и обнялись после долгой разлуки, выяснилось, что старик Тетерин *ничего* не помнит из прошлого - вернее, *не хочет* вспоминать. Так же, как не хочет ничего рассказывать о своей лагерной жизни. "Стояли на льдине, которая рас-

кололась, понесло в разные стороны, и теперь уж назад неохота прыгать..." Один не хочет вспоминать, другой не может забыть – и эта невозможность забыть оказывается смертельной.

Когда-то Эренбург сказал: "Жизнь не вычеркнуть из жизни". Попытки забыть прошлое в конце концов приводят к тому, что человек, если он и остается в живых, – живет несуществующей жизнью, как бы "полусуществует". Это произошло с трифоновским Глебовым из "Дома на набережной". Он не подозревал, что "живет жизнью, которой не было", которую он долгие годы будет вычеркивать из памяти, но которая возникает вдруг, из ничего, после ночного звонка старого пропавшего приятеля. И вернулось время, вернулись люди, казалось бы, давно ушедшие в небытие. Так прошлое оказывается сильнее настоящего (да и есть ли оно вообще, это "настоящее"?..), и тут ничего нельзя поделать.

Свой последний роман Трифонов четко размечает на части – временные и пространственные. Они носят конкретные названия: "Центральный парк", "Пляжи тридцатых годов", "Тверской бульвар", "Якиманка", "Большая Бронная" – но все опять-таки слито воедино, трудно отделить одно от другого. Время определяет место, и наоборот. Гигантская Москва, любимый город автора, превращается в гигантскую "воронку времени", которое поглощает всех. Антипов, стоя у окна в доме на Рождественском бульваре, в день похорон Сталина, смотрит вниз и видит "то, чего никогда увидеть нельзя". Неумолимое течение времени, течение толпы людей, "сбитых в плотную гущу", с утра до вечера. "Время громоподобно катилось вниз, к Трубной". Да, такое почти никогда нельзя увидеть, разве что всю жизнь провести у окна или на балконе и смотреть вниз. Как старуха Веретенникова, которая со своего балкончика видела все: революцию, бои с юнкерами, встречу летчиков, пустые дома с заклеенными бумагой окнами, громяхающие громом танки осенью 41-го и эту "набитую людьми, воющую предсмертную ночь"... Так протекает без остановки сама история, которую не замечаешь, пока ты среди нее, а не над ней.

Но вот, наконец, вся эта суeta замедляется, наступает "время и место" – середина 70-х годов, пустая квартира, в центре старой Москвы, в Мерзляковском переулке. Антипов один. Жена ушла, дети выросли, семейная жизнь не получилась, как не получилась книга "Синдром Никифорова" и роман с красавицей Ириной... Но Антипова в его "академическом возрасте" все это

не очень огорчает. Ведь "у всех что-то не получалось". Да и как могло получиться иначе? Одиночество Антипова разделяет только Маркуша, "несуразный тип, дитя улицы", книжный барышник, игрок, болтун, знающий всех и вся, такой же вечный, как московский воздух. Этот Маркуша, "попысевший, уморительный обалдуй, знавший книгу гениально - мог на спор угадать название, когда книгу показывали обратной стороной обложки" - такая же часть Москвы, как, скажем, Кузнецкий мост, бега или стадион Динамо с толпой футбольных болельщиков. Он "существовал всегда, но всплывал вблизи временами", как раз когда в нем нуждались. Недаром Антипову давно хотелось написать про Маркушу как последнего из московских могикан. У него готово уже и название: "Ненужный гений". Да мало ли сгинуло таких ненужных гениев?.. И с каждым уходила какая-то частица Москвы - места и времени.

Это, кстати, маркушиной матери, которая когда-то училась пению в Одессе у Макареску, принадлежит высказывание "Все имеет свое время и свое место" - житейская мудрость, устаревшая, как и все ей подобные, но которую вроде бы ничем заменить. Действительно, как сказать короче? И Антипов, которого уносят на носилках в больницу, думает: не было времени лучше, чем то, которое он прожил. И нет места лучше, чем эта лестница "с растрескавшейся краской на стенах... с голосами и запахами жизни". Да так ли уж была хороша эта жизнь? Один из трифоновских героев отвечает на это словами Достоевского: "Человеку необходимо столько же счастья, сколько и несчастья..."

Писатель Михаил Демин, ныне тоже уже покойный, двоюродный брат Трифонова, в своей книге "Таежный бродяга" вспоминал, как они встретились с ним в Москве после долгой разлуки. Было начало 50-х годов, Демин недвояно отсидел свой срок и должен был ехать из Москвы в сибирскую ссылку. На прощание Трифонов подарил ему свой недавно вышедший роман "Студенты". Сквозь общий дух "стандартного соцреализма" этого романа Демин сумел уловить и нечто необщее - образность, выразительность, а главное - время! "Первый Юрин опыт был не случаен, - пишет он, - в нем явно отразилось время... Время гнуло нас, пригибало к земле. Мы оба с ним метались в исканиях. Конечно, каждый по-своему. И нашли себя не сразу".

Приметы этого времени, в лицо которому неустанно всматривался Трифонов, отразились и в его последнем цикле рассказов "Опрокинутый дом". О чем бы ни шла

речь: об Италии, о Финляндии, о Марке Шагале, об игорных домах Лас-Вегаса – авторская память все время возвращается к прошлому. И мы понимаем, что иначе нельзя, что все в мире закольцовано, "все живое связано друг с другом". Сицилия и Ростов-на-Дону, Марк Шагал и старый безвестный художник, живший в доме на Масловке; казино Лас-Вегаса и карты на осенней дачной веранде под Москвой... Иногда примеры прошлого становятся зримее самой реальности. "Это было в те времена, когда на крышах домов еще не торчали телевизионные антенны, когда женщины носили пальто труакар с накладными плечами, а мужчины ходили в габардиновых плащах, некоторые в шинелях, когда еще не было Лужников, игры происходили на стадионе "Динамо"..., когда не появились еще итальянские фильмы, и Москва смотрела немецкие трофейные ленты, которые шли не в кинотеатрах, а в клубах, когда существовал "Гранд отель" и модным считался ресторан ВТО, где метрдотелем был Борода, когда весь район восточнее стадиона "Динамо" был застроен ветхими деревянными домишками и напоминал село..." Нужно ли продолжать этот грустный перечень, бесконечный, как сама жизнь? Нужно ли вспоминать, преодолевать "покосившееся время"? Трифонов уже ответил на эти вопросы в своем последнем романе. "Надо ли вспоминать – это так же глупо, как: надо ли жить?.."

На сей раз он, вопреки обыкновению, высказал все до конца. Он "дочерпал" повествование, доведя его до наших дней, будто предчувствовал, что кончается отпущенное ему время. Все остальное для него уже не имело значения.

Вл. Голицын



"ПЕРЕКРОЙКА"

Когда в Советском Союзе называют либерализацию Горбачева перестройкой, то никто не задумывается над тем, что перестраивать можно только то, что хорошо задумано. Происходящее в Советском Союзе, как ни странно, напоминает стареющую даму, которая пытается румянами и белилами вернуть себе, сели не молодость, то по крайней мере какой-то шанс на привлекательность. Нет, я не оговорился. Советская власть достаточно крепка, однако ее положение вызывает, если не сомнение, то по крайней мере знак вопроса. Что мы имеем на самом деле? Как говаривал основатель советской идеологии Ленин, политика от экономики неотделима. Кажется, это до него говорил еще и Маркс. Начну с экономики.

Поскольку я человек простой, ходящий по улицам и, разумеется, заглядывающий в магазины, то вижу, что магазины стали снабжаться намного хуже, даже по сравнению с временем так называемого застоя. Не будучи экономистом, берусь все-таки сказать, что беспрерывные крики "давай, давай, работай лучше" без материального подтверждения дают результат — результат отрицательный. Продуктовая проблема, как была, так и остается острой. В магазинах пустота, продукты чрезвычайно некачественные. Автор этой статьи незадолго до отъезда из Москвы был в иностранном посольстве и случайно слышал инструктаж для туристов. И вот, что открылось обычному советскому гражданину. Оказывается, есть вареную колбасу нельзя, молочные продукты тоже, парниковые огурцы и редис содержат яд. Правда, я не знаю смертных случаев, но тем не менее меня это как-то насторожило. Но не в этом дело — съедим и с ядохимикатами — лишь бы достать. Это не вопль человека, увидевшего в Париже такое изобилие. Действительно плохо с продуктами. Я кончаю свой миниэкономический обзор, сделанный от имени гурмана с детства. Перехожу к тому, что сейчас составляет или ведет за собой общественную мысль толпы.

Перестройка, она же перекройка, как я ее себе мыслю, на грани катастрофы. Не будучи плагиатором, тем не менее, хочу сослаться на писателя Гранина. Он правильно заметил, что, если перестройка не даст немедленных экономических и политических результатов,

она захлебнется. По сути дела, это будет крах для советских людей, которые возлагали большие надежды на Горбачева. А откуда результаты?! Ведь нам предлагают работать больше и лучше, для того чтобы партийному руководству жилось прекрасно. У них ничего не изменилось. Партконференция показала, что пуще всего Горбачев боится партийного аппарата. Удивительное дело, этот улыбчивый и прогрессивный человек был более прост и естественен с Рейганом, чем на партконференции. Ни для кого в Советском Союзе не секрет, что в Политбюро идет тяжелая борьба. Не понятно только, за что. Если делят власть, то у Горбачева чрезвычайно скользкое положение. Он не добился на партконференции возможного статуса всенародного президента, а это весьма важно. Так его может снять любой пленум. И вот он – ловкий центрист – кружится вокруг разных мнений, ходят слухи о том, что его конкурент № 1 Егор Лигачев – первый претендент на власть. Не думаю. Кажется, это хорошо отрепетированный тандем. Один злой – другой хороший. И, в общем, все довольны.

Сейчас в России, как ни странно, равновесие. Чувствуется политическая усталость. Это несмотря на массу неформальных объединений и прочие попытки как-то освежить, демократизировать жизнь. Боюсь показаться дидактичным, но мне кажется, что в нынешнем общественном состоянии страны не хватает свежей активной политической струи. Понимая все трудности инакомыслящих людей в России, я, тем не менее, считаю, что именно сейчас есть время для активных действий. Армения – пример тому в первую очередь. Не буду вдаваться в ужасные подробности происшедшего в Сумгаите, армяне первые во весь голос по разным политическим соображениям заявили свой протест.

Не важно, чем это кончилось, важно другое: Горбачев вынужден был публично, на заседании, передаваемом по телевидению, объяснить советскому народу свое неприятие армянского вопроса. Я останавливаюсь на этом специально, поскольку именно тут перестройке был сделан серьезный экзамен. С моей точки зрения, Горбачев его не выдержал да и не мог. Партийная бюрократия не допустит, даже в рамках советского законоположения, перемен по воле народа. А ведь речь шла о волеизъявлении народа. Все конституционные права армянами были соблюдены, однако нашлись другие статьи в той же самой сталинской конституции (она же брежневская), которые позволили, с одной стороны, отменить народную просьбу, с другой, – придать этому законный характер. Я остановился так подробно на армян-

ских событиях, чтобы показать половинчатость мер, принимаемых Горбачевым. Может, он и хочет лучшего, но вряд ли, ведь сам генсек – плоть от плоти этой системы и прекрасно понимает, что любые прогрессивные радикальные перемены ведут к ее разрушению.

Его невероятная популярность в среде русской интеллигенции объясняется не только тем, что он освободил политических заключенных, но, и главное, дал почитать ранее запрещенные книги. Что еще нужно бедному советскому интеллигенту – ему дали духовную пищу и немножко впридачу религии. Он торжествует. Но это временное явление. Я глубоко в этом убежден. Позиция Горбачева – центристская в недемократическом государственном аппарате. Не думаю, чтобы он действительно хотел каких-то логических перемен. Он не мог бы сам оказаться на том месте, где работает, если бы не был человеком партийной бюрократии. Это простая и естественная мысль почему-то не приходит в голову всем поклонникам Горбачева в Советском Союзе.

Из знакомства с теле- и радиопередачами в Советском Союзе вылезает под именем Михаила Сергеевича ординарный районный партийный работник, которому надо бы ездить по селам и уговаривать крестьян собирать больше урожая или, как говорят в Советском Союзе, "включиться в битву за хлеб". Он же делает мировую политику. Разрыв мышления между работником районного масштаба и лидером Великой державы опасен. Что возьмет верх? Это никому не известно. Как всегда, у большевиков торжествует примат тактики над сутью дела. Идет борьба, вроде бы Лигачев справа, Яковлев слева, Горбачев посередине. Дай Бог, чтобы эта середина была золотой. Два "прокола" Горбачева в вопросе Ельцина и армянской проблемы заставили многих усомниться. Да, возможно, он великолепный тактик. Но какова стратегия? Это совершенно неясно. Да, нам разрешили больше разговаривать, да, увеличили поездки на Запад, но остается Родина с ее судьбой и проблемами. Увы, прежде всего накормить, потом дать политическую свободу и посмотреть, что из этого выйдет, ибо советские люди отвыкли и от того, и от другого. Спешу оговориться, что к политической свободе они не привыкали никогда. И последнее, что я хотел бы затронуть – это проблема Сталина.

Слава Богу, Горбачев – не сталинист. Даже наоборот – борьба против культа личности Сталина ведется весьма активно. Создается впечатление, что некоторая часть советского народа даже пресытилась этой борьбой. И, однако, в пропаганде есть табу: как только дело под-

ходит к запретному порогу, а им является вопрос Ленина, — полное молчание. Напечатано много, сказано много. И невольно логика ведет к тому, что Сталин был верным учеником Ленина. Вот здесь полное молчание. Этой сваи из основания советской власти Горбачев, естественно, никогда не выбьет. Не образ же Христа вешать позади президиума торжественных собраний. Кстати, Горбачев не пришел лично на заседание в Большом театре по поводу, святому для нас всех, 1000-летия крещения Руси. В партере сидела его жена. Это многократно показывали по телевидению. Итак, мы присутствуем и отсутствуем. Я понимаю, что христианство — один из выходов из той духовной брешы, в которой сейчас оказалась Россия. Но нельзя же сидеть на двух стульях. Мне любопытно, хотя любопытство — естественный грех, к чему приведет половинчатость.

Даже относительная свобода несовместима с однопартийной жестокой системой. Конфликтов масса. Демонстрация десантников в Москве и Ленинграде, разгоны демонстраций около памятника Пушкину, — кстати, там стали рыть какой-то переход, явно ни к селу, ни к городу, так как переход есть рядом, очевидно, лишь бы не собирались. Короче, народ не доволен. Это не голословное утверждение. Экономика — тот ключ, который бьет по голове. Вещи политические — особые, но мы так никогда и не узнаем, чего хочет Горбачев. Реформы? Эта свобода печати — она относительно есть. Ну, а дальше — то что?

В России неоднократно среди молодежи — технической и гуманитарной — возникала идея второй партии. Слабые попытки кончились плохо. Думается, что необходима партия действия, устраивающая самые широкие слои народа, который к слову "коммунизм" относится иронически, но по сути дела инертен. Нужна новая идея, идея, более сильная, чем, скажем, свобода слова или свобода собраний. В России явственна тяга к монархизму. Не отсюда ли надо отталкиваться? Русский народ был всегда склонен к единоличной сильной власти. Однако с приходом Ленина и его последователей морально ситуация переменялась. Вряд ли русские хотят диктатора. Очевидно, им нужно совершенно другое — свобода в рамках преуспевающего крестьянства, зажиточных граждан и того тихого спокойного общения, по которому так истосковалась Россия.

Я неспроста назвал статью "Перекройка". Дело не в том, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется, к сожалению, все очень просто. В рамках нынешней политической структуры прогресс невозможен. Россия за-

дыхалась 71 год. Она может задыхаться и дальше, но доколе можно перекрывать кислород. Слово за русским народом, только не надо ему морочить голову и объявлять очередные реформы последними и окончательными. Во-первых, ни одна из обещанных Горбачевым реформ по сути дела не проведена в жизнь, кроме, разумеется, относительной свободы высказываний. Во-вторых, данная либерализация, позволю себе еще раз напомнить, напоминает старую даму, которая румянами и белилами старается прикрыть свой возраст, и такова действительная ситуация, таковы проблемы. Россия ждет, особенно ее молодежь.

Когда писалась эта статья, из Москвы пришла весть – новый указ Президиума Верховного Совета СССР о статусе так называемых внутренних войск. Их права значительно расширены. Если раньше они, по сути дела, занимались охраной различных объектов – от обширнейшего ГУЛАГа до научно-исследовательских институтов, были готовы к разгону уличных демонстраций, хотя это обычно была прерогатива милиции и КГБ, – то теперь внутренним войскам Советской армии вменяется в обязанность поддержание общественного порядка. Под этим подразумевается не только наведение порядков во время уличных волнений, но и заставляющее задуматься новое законоположение: отряд внутренних войск имеет право, преследуя преступника или подозреваемого в преступлении, ворваться в его жилище или другое место его убежища без прокурорской санкции. Это – по сути дела прелюбопытнейший нюанс так называемой либеральной перестройки. Где же презумпция невиновности? Где неприкосновенность жилища? А на что они, если этого требуют интересы защиты социалистического государства?!

В результате перестройки или, как я ее называю, "перекройки" мы получили новый карательный корпус – то ли сродни жандармскому, то ли нечто вроде испанской "гуардии сивиль". Так или иначе, одним карательным мечом стало больше. Вот вам и либеральная "перекройка".

А. Смирнов
Сентябрь 1988
Париж – Москва

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

А н т о н о в и ч Александр Сергеевич, род. в 1945 году в Москве. В 1971 г. окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Стихи и небольшие юмористические рассказы публиковались в журналах "Юность", "Новый мир", "Знамя" и др. В 1980 и 1982 годах в издательстве ИМКА-Пресс были напечатаны две начальные книги романа "Многосемейная хроника". Первая книга получила премию им. В. Даля, была переведена на французский язык и издана во Франции. "Повесть об Иване Сергеевиче и Прасковье Никифоровне, супругах Коромысловых" была опубликована в "Гранях", № 122, 1981 г. и повесть "Отпуск" – в "Гранях", № 142, 1986 г. В 1981 году покинул СССР. Живет в США.

К о й т Андрес – об авторе нет никаких сведений. Редакция располагает его рукописями, попавшими на Запад из СССР, по нашим подсчетам, около четырех лет назад. В "Гранях" № 149 была опубликована повесть А. Койта "Битые собаки". Редакция будет признательна за любые сведения об этом авторе.

М а н и н Евгений род. в 1937 году. Историк, археолог, знаток Ближнего Востока. В США стал техническим переводчиком, а затем полностью посвятил себя журналистике. Много публикуется в русско-язычной прессе эмиграции. Живет в Филадельфии.

М е й е р Юрий, представитель первой, послереволюционной, эмиграции. Автор многочисленных работ по русской литературе. Долгие годы был профессором американских университетов. Живет в Вашингтоне.

М у р а в ь е в а Ирина, род. в Москве в 1952 году. По образованию филолог. В Москве занималась переводами английской и немецкой поэзии, много писала о Пушкине. Эмигрировала в 1985 году. В настоящее время живет в Бостоне, преподает в Гарвардском университете. Регулярно печатается в русских изданиях эмиграции. Автор "Граней" (№№ 144, 148, 149).

П о п о в с к и й Марк Александрович род. в 1922 году в Одессе. Учился в Военно-Медицинском училище и Военно-Медицинской академии. Участник Второй мировой войны. Окончил также филологический факультет Московского университета.

После войны – профессиональный литератор. В СССР опубликовано 14 его книг, посвященных деятелям науки, и десятки статей.

В 1977 г. под давлением КГБ вынужден был эмигрировать. Ныне живет в США. На Западе вышло несколько его книг, материалы для которых он собрал еще в Советском Союзе. Так, в Лондоне (Overseas Publications Interchange) выпущена "Управляемая наука" (1978) – обзор современного научного мира в СССР. В 1980 г. в издательстве ИМКА-Пресс опубликована его работа "Жизнь и житие архиепископа Луки Войно-Ясенецкого" о знаменитом хирурге, узнике сталинских лагерей и архиепископе Крымском и Симферопольском. В 1983 г. вышли две его книги "Русские мужики рассказывают" (о судьбе толстовцев) и "Дело академика Вавилова". Много выступает как публикатор ранее неизвестных материалов. Автор "Граней" (№№ 143, 149 и как публикатор очерка Ю. Первой "Алые паруса в сером тумане" в №№ 147 и 148. Он также подготовил подборку материалов "Интеллигенция – опыт осмысления", публикуемую в настоящем номере).

Ф е д о р о в Юрий родился в 1940 году. В 1970 году был осужден по известному "самолетному делу" и отсидел "от звонка до звонка" все 15 лет. После отбытия срока выехал на Запад. Живет в США. Работу в строительной фирме совмещает с писанием радиопередач.

Ш т е р н Лев родился в 1932 году в гор. Истра Московской области. Окончил переводческий факультет Московского государственного института иностранных языков. В советской печати выступал как переводчик художественной литературы (С. Моэм, Скотт Фицджеральд, Дж. Уэйн, Ф. Марсо, П. Галликоу и др.). Публикация переведенного им романа Ф. Форсайта "День шакала" (совместно с В. Муравьевым, 1974) в журнале "Простор" была прервана по распоряжению Суслова. Эмигрировал в 1977 году. На Западе публиковался в "Новой газете", "Новом американце", "Гранях", "Стране и мире". Живет и работает в Вашингтоне.



СОДЕРЖАНИЕ

с № 147 по № 150

ПРОЗА

КОЙТ Андрес

Битые собаки. Повесть, 149

Родные и близкие. Рассказ, 150

МОЭМ Сомерсет

ТРИ РАССКАЗА: Случайный попутчик. Любовь и русская литература. Непостиранное белье мистера Харрингтона, 150

МУРАВЬЕВ П. Рыболовы. Рассказ, 150

МУРАВЬЕВА Ирина. На Кропоткинской.

Рассказ, 148

Чужая дочка. Рассказ, 150

СОЛОУХИН Владимир. Смех за левым плечом.

Главы из новой книги, 147

ЦВЕТКОВ. Е. Счастливый Цезарь. Научно-фантастическое сочинение, 148

ПОЭЗИЯ

АНДРЕЕВ Даниил

Из "Избранного". Тринадцать стихотворений: "Есть праздник у русской природы..." - В храме. - "Ни кровью, ни грубостью праздников..." - "Милый друг мой, не жа-

лей о старом..." - Беженцы (из поэмы "Германцы"). - "В жгучий год, когда собирает родина..." - Западу. - Посмертье Ивана III (из поэмы "Гибель Грозного"). - Ноч лег. - "Ткали в Китеже граде..." - Праведники прошлого (Триптих). - "Всё безвыходней, всё многотрудней..." - "Медленно зреют образы в сердце", 147

ГУБАНОВ Леонид

Волчьи ягоды. Три стихотворения: "Погибну ли юнцом..." - Написано в Петербурге. - Бандероль священно любимому., 150

КАШКАРОВ Юрий

Шесть стихотворений: "Мыслей упорный ропот..." - "Весенних дней нерукотворный тлен..." - "Неизвестность на столе гадальном..." - Тюремно-зимнее, Российское. - "Блаженству нищих чуждо естество..." - "Нарциссы жёлтые - их цвет неописуем...", 148

КУБЛАНОВСКИЙ Юрий

Metamorphosis. Шесть стихотворений: "Розовые гребни колышет..." - В позднеосенний штиль. - "У заброшенного мола..." - Земля. - Памяти детства. - Metamorphosis, 149

МАРК Григорий

Последний мыс. Десять стихотворений: "Последний мыс. Стеклянная вода..." - "Мой город холодный, нарядный..." - Ленинград. - Лето в Ленинграде. - Март. - Попытка молитвы. - "Моя

голова - обезумевший флюгер..." -
Осень. - "Плывут над городом осен-
ние поверья..." - Творчество, 148

ПУХАНОВ Виталий

Девять стихотворений: "У Себастьяна
Баха..." - "Мы смотрели на глухие
воды..." - "В Москве сентябрь, а в
Кирове вот-вот..." - "Раньше, чем
беда случится..." - "Нам жизнь
прожить - что поле перейти..." -
"Как жили древние народы..." -
"Пошли мне, Боже, истину со
мною..." - "Что мне сказать наро-
ду моему?..." - "Когда чернел над
полем крест орлиный...", 150

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЕРТЛИБ Евгений

В. Шукшин и русское духовное воз-
рождение, 149

ДОНАТОВ Л.

Хвалу приемли равнодушно (о поэ-
зии И. Бродского), 147

МАЛЬЦЕВ Юрий

Личность Бориса Пастернака, 147

ШНЕЕРСОН Мария

Что может выйти из этого Шарико-
ва, 150

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

ПЕРВОВА Юлия

Алые паруса в сером тумане.

Часть 1, 147. Часть 2, 148

ИСТОРИЯ

ГЕЙФМАН Анна

Кадеты и революционный террор, 1905–1907, 150

Ген. А. И. ДЕНИКИН

Письма 1939–1946 гг. (Публикация Н. Н. Рутыча и Н. М. Янова), 149

Письмо участника рейда Мамонтова

Публикация Н. Рутыча, 148

РУТЫЧ Н. Н.

Заметки к истории мамонтовского рейда, 148

Последние годы генерала Деникина, 149

ПУБЛИЦИСТИКА

АНТОНОВИЧ Александр

Каков диаметр колеса истории? 150

БАХТАМОВ Рафаил

Костер в ночи, 147

МАНИН Евгений

Если верить пифагорейцам..., 150

МЕЙЕР Юрий

О русской древолюционной интеллигенции, 150

НЕЗНАНСКИЙ Фридрих

Прыжок над пропастью, 149

ПОПОВСКИЙ Марк

Об одной неизлечимой болезни, 150

ФЕДОРОВ Юрий

Русский интеллигент на свободе и в лагере, 150

ЮГОВ Александр

На экономическом ринге, 148

ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

БЕСКРОВНЫХ Виктор

Еще о Чернобыле, 148

ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

ГАВРИЛЮК С.

Польская православная церковь в
наши дни, 149

МАМАЙКО Христина, НАУМОВ Александр

Русские фрески как пример визан-
тийской живописи на польских
землях, 149

ПОСПЕЛОВСКИЙ Д.

Подвиг веры в атеистическом госу-
дарстве, 147

Прот. К. ФОТИЕВ

О новом церковном сознании, 148

ИСКУССТВО

ДОЛУХАНОВ Анатолий

Последний сталинский нарком от
музыки, 150

МУРАВЬЕВА Ирина

Это наша жизнь (о фильме "Мой
друг Иван Лапшин), 149

Двадцать лет спустя... (о фильме
"Комиссар"), 149

ОРЛОВА Александра

Судьба артиста, 150

НАУКА И ТЕХНИКА

ПОПОВСКИЙ Марк

Юрий Кондратюк - в трех зеркалах,
149

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Г о л и ц ы н Вл.

Лицо времени (Ю. Трифонов "Время и место"), 150

Е р м о л а е в А.

О православном альманахе ("Путь", №№ 10-11), 147

К у б л а н о в с к и й Юрий

Писатель, которого предстоит открыть (В. Кормер "Наследство"), 147

М у р а в ь е в а Ирина

За душу хватающая книга (А. Приставкин "Ночевала тучка золотая..."), 148

Н а з а р о в Михаил

Двуликий Янус перестройки ("Московские новости"), 147

С и н к е в и ч Валентина

Литературный Париж за полвека (Ю. Терапиано "Литературная жизнь русского Парижа за полвека"), 147
Только одна жизнь (Иван Савин "Только одна жизнь"), 149

Ф е д о с е е в Анатолий

Осмысление опыта (Д. Штурман "Городу и миру"), 149

Х е й ф е ц Михаил

О западном стиле в науке (И. Зем-

цов, Дж. Феррар "Горбачев. Человек и система"), 148

ПУБЛИКАЦИИ

КРУПИН Владимир

Он приказал нам долго жить (памяти Федора Абрамова), 147

ПРОБЛЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ПЕЧАТИ

Стенограмма информативной встречи-диалога редакторов независимых изданий (Ленинград, 24-25 октября 1987 г.), 148

СМИРНОВ А.

"Перекройка", 150

РЕДАКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Афганский курсив, 147

"Если зовет своих мертвых Россия..." (К семидесятилетию со дня рождения А. Галича), 150

Александр Исаевич Солженицын – МНОГАЯ ЛЕТА, 150



Александр Галич

Когда я вернусь

В этот сборник вошли все стихи и песни А. Галича, которые он хотел видеть напечатанными.

Первая книга стихов и песен Галича – «Песни» – вышла в изд-ве «Посев» в 1969 году. Дополненный и исправленный этот сборник под названием «Поколение обреченных» вышел в 1972 г. и выдержал три издания. Третья книга Галича – «Когда я вернусь» (1977), выпущенная под наблюдением самого автора, – включала все его стихи, написанные после 1972 г. в России и за границей. В предлагаемый сборник «Когда я вернусь» (2-е изд.) включены все три предыдущих сборника.

1986

414 с.

32 н.м.

СНОВА В ПРОДАЖЕ

Наум Коржавин
СПЛЕТЕНИЯ
Стихи и поэмы

Переиздание второй книги стихотворений известного поэта Наума Коржавина, популярность которого побудила журнал «Новый Мир» и другие периодические издания в СССР напечатать несколько его стихотворений и статью, выбрав самые политически нейтральные темы. Произведения Н. Коржавина проникнуты чувством гражданского мужества, жадой справедливости и политическим осознанием окружающего мира. Хотя эти темы сейчас больше всего интересуют читателя в России, вряд ли советская цензура согласится на многотиражное распространение сильных и правдивых стихов этого автора.

1988

248 с.

25 н.м.

Иван Елагин
«КУРГАН»

Новый сборник замечательного современного поэта Ивана Елагина «Курган» — цельная автобиографическая стихотворная композиция, где личные воспоминания неотделимы от общероссийской трагедии двадцатого века.

1987

40 с.

9 нм

Александр Солженицын

Рассказы

В окончательной редакции автора: Один день Ивана Денисовича. Случай на станции Кречетовка. Матернин двор. Для пользы дела. Захар Калита. Крохотки. Правая кисть. Пасхальный крестный ход.

1976, тверд. худ. переплет, 372 с. 26 н.м.

«Дело Солженицына»

1973, тверд. переплет с золот. тиснением, 662 с. 22 н.м.

Мария Шнеерсон

Александр

Солженицын

(Очерки творчества)

Известный литературовед Мария Шнеерсон разбирает творчество крупнейшего писателя современности. В книге девять глав: 1. Властитель наших дум. 2. Непреклонность человеческого духа. 3. При свете совести. 4. Зов к раскаянию. 5. Великое противостояние душ. 6. Восставшие от рабства. 7. Столкновение жизни и смерти. 8. Трагедия и сатира. 9. Эпос и лирика. Книга кончается подробным хронографом творческого пути Солженицына.

1984, 300 с.

32 н. м.

**Главный редактор
Е. А. Брейтбарт-Самсонова**

Адрес редакции журнала «Грани»:
Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,
D 6230 Frankfurt a. M. 80
Тел. (069) 34 46 71

Непринятые рукописи не возвращаются.

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

к литературной молодежи, к писателям
и поэтам, к деятелям культуры
— ко всей российской интеллигенции

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет вам возможность публиковать те ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине. Напечатаны эти произведения могут быть в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Будет сделана попытка их публикации и на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом, который будет строго соблюдаться издательством.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу, так и через иностранцев, посещающих СССР. Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**Possev-Verlag
Flurscheideweg 15,
D-6230 Frankfurt am Main 80**

Предоставляя пишущим страницы своих изданий, мы помогаем российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик.

За свободное Творчество! За свободную Россию!

Издательство «ПОСЕВ»

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Стоимость подписки на 4 номера:
в издательстве — 60 н.м.
через магазины — 70 н.м.

ПОСЕВ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Стоимость подписки на 12 номеров:
в издательстве — 72 н.м.
через посредников — 84 н.м.

СТОИМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ:
„ГРАНИ“ — 17.50 н. м., „ПОСЕВ“ — 7 н. м.

Расходы по пересылке за счет подписчика

Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG

D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15

или же банковским переводом на

Konto 2 412 75500, Dresdner Bank, Frankfurt/Main

или на почтовый счет

Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.

ISSN 0017-3185